И. И. ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

ПИСЬМА



И. И. ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ. ПИСЬМА



И. И. ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

ПИСЬМА

Москва
· СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ·
1979

8Р1
П91

Составление,
вступительная статья и комментарии
С. Д. Селивановой

П $\frac{70301-162}{М\text{-}105(03)79}$ 103—79 4702010100

«...ДУМ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ»

«...Если бы при мне должна была случиться несчастная его история... я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России...» — так написал Иван Иванович Пущин из сибирской ссылки старому лицейскому другу И. В. Малиновскому.

И нам вместе с Пущиным хочется верить, что так бы оно и было...

* * *

...12 августа 1811 года состоялся приемный экзамен в Царскосельский лицей. Среди державших испытания был и сын генерал-интенданта, сенатора Ивана Петровича Пущина — тринадцатилетний Иван Пущин. Через много лет он вспомнит этот день: «У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. — Я слышу: Ал. Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда... Не припомню, кто, только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться...»

Времени до официального открытия Лицея было много, и Пущин стал частым гостем на Мойке. Мальчики подолгу гуляли в Летнем саду... Так началась эта дружба...

Шесть лицейских лет провели мальчики рядом, в соседних комнатах (счастливое стечение обстоятельств! —

Пущину досталась комната под № 13, 14-ю занимал Пушкин). Легкая дощатая перегородка, разделявшая их жилища, не доходила до потолка. Перед сном можно было подолгу переговариваться... Уже и тогда их дружба не носила характера простого школьного общения. Нечто гораздо более серьезное связывало мальчиков: чувство искренней привязанности друг к другу, любви, полного взаимопонимания.

А понять Пушкина было нелегко. Горячий, обидчивый, с неровным характером, он часто ставил в неловкое положение себя и окружающих. «В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило, — вспоминает Пущин.— Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить». «Улаживал» Пущин. Обладая счастливым нравом, мягкий, спокойный, уравновешенный, добрый и чуткий, он умел быть терпимым к недостаткам друга, умел «...взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера... мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище».

Пушкин отвечал Пущину такими же чувствами искренней любви и верности. «Товарищ милый, друг прямой», — обращается он к нему в одном из стихотворений лицейских лет. Голос поэта словно теплел, когда речь заходила о Пущине. «Мой первый друг, мой друг бесценный» — это написано уже годы спустя... И последний вздох о Пущине: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского!» — это уже умирающий Пушкин.

Дружба, начавшаяся в детстве, выдержала самое тяжелое из испытаний — испытание временем.

Что же за человек был Иван Иванович Пущин? Человек, на всю жизнь любимый Пушкиным? Как сложилась его судьба? Не узнав этого, не понять и феномена той

редкостной дружбы, которая не только не ослабевала с годами, а, напротив, обретала характер истинной, непреходящей ценности, бережно хранимой обоими.

29 октября 1817 года, сразу же после окончания Лицея, Пущин поступает в лейб-гвардии конную артиллерию в чине прапорщика. Военная служба, если взглянуть на послужной список Пущина, складывается удачно: в апреле 1820 года он произведен в подпоручики, в декабре 1822-го — в поручики. «К повышению чином достоин», — сказано далее в его военном формуляре. Однако повышения не последовало: в январе 1823 года Пущин оставляет службу в артиллерии, с тем чтобы занять низшую полицейскую должность — квартального надзирателя.

Чем было вызвано столь удивительное решение? Удивительное — потому что более презираемой должности, чем должность квартального, не было во всей России. И ее готов был занять не кто-нибудь, а блестящий гвардейский офицер, родовитый дворянин, внук адмирала екатерининских времен, сын сенатора, выпускник Царскосельского лицея! Зачем? «Чтобы показать, что в службе государству и народу нет обязанности, которую можно бы считать унизительной» — так много лет спустя объяснил Пущин свое решение сыну декабриста Якушкина. Родные возмутились, сестра Пущина на коленях просила брата отказаться от его намерения. Пришлось уступить. Нет, в армии он все-таки не остался. Занял место надворного судьи в Уголовной палате — должность, тоже по тем временам не пользовавшуюся почетом.

Современник вспоминает: «Иван Иванович Пущин — один из воспитанников Царскосельского лицея, первого блистательного выпуска, благородный, милый, добрый молодой человек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды. В добродетельных порывах, для

благотворения человечеству, вступил он на службу, безвозмездно по выборам в Уголовную Палату»[1].

«Переход резкий, — напишет Пущин об этом событии в своей жизни, — имевший, впрочем, тогда свое значение».

Какое значение, понять нетрудно, если послушать голос еще одного современника Пущина, описавшего в своих воспоминаниях судейские порядки тех лет: «Всем также было известно, что в судах... господствовало кривосудие; взяточничество было почти всеобщим; процессы продолжались до бесконечности; кто мог больше дать, тот выигрывал; словом, все, казалось нам, приходило в расстройство... Так все думали и убеждались в том, что все это было неизбежным следствием тогдашнего порядка вещей, в котором не признавались ничьи права пред сильнейшим; в котором старший, кто бы он ни был, всегда был не начальником, а властителем и господином младшего, сильный — слабого, богатый — бедного; в котором никто не мог сослаться на свое право, потому что никакого права не было...»[2]

Проникнутый идеей справедливости, человек активный, жаждущий общественно значимой деятельности, исполненный чувства долга, Пущин пошел служить туда, где мог приносить реальную, конкретно ощутимую пользу. И приносил.

«Я им толкую о святости нашей обязанности, — пишет он о своих коллегах — судейских чиновниках в письме к лицейскому товарищу В. Д. Вольховскому,— и стараюсь собственным примером возбудить в них охоту и усердие...» За два года службы в суде он сумел помочь многим. «...Пущин, первый честный человек, который сидел

---

[1] Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Спб., изд. А. С. Суворина, 1886, с. 407.

[2] А. П. Беляев. Воспоминания о пережитом и перечувствованном. — «Русская старина», 1881, т. 30, с. 488—489.

когда-либо в Русской Казенной Палате», — писал в 1825 году Ф. С. Хомяков брату.

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в глазах общественного мненья
Завоевал почтение граждан...

Так скажет о друге Пушкин. Но скажет уже позже, в 1825 году. Тогда же, в 1823-м, поэт был далеко от столицы. Высланный из Петербурга, он вот уже три года жил на юге, — сначала в Кишиневе, потом в Одессе. Ссылка Пушкина, как известно, была вызвана его политическими стихами, которыми, по выражению Александра I, он «наводнил Россию». Позднее, когда шел судебный процесс над декабристами, в бумагах многих из них были найдены списки этих пушкинских произведений. Конечно, знал политические стихи Пушкина и Пущин. И не только знал — понимал, какое огромное революционизирующее значение имеют они, как активно воздействуют на умонастроения передовой части тогдашнего русского общества. Он не раз говорил другу, что тот «действует как нельзя лучше для благой цели».

Сам Пушкин позднее довольно точно обрисует свои взаимоотношения с декабристами в знаменитом «Арионе».

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел...

И все-таки в тайное общество Пушкин принят не был. Пущин сознательно, как явствует из его «Записок», не открыл другу его существования, хотя сам состоял в нем уже несколько лет.

Еще в лицейские годы он стал посещать кружок будущего декабриста И. Г. Бурцова — «Священную артель», «колыбель» первого тайного декабристского общества. «Постоянные наши беседы, — вспоминает Пущин, — о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского...»

Впоследствии Пущин стал одним из активнейших участников Северного общества. Во время его службы в Москве ему было поручено организовать московскую управу общества. Пущин учредил в Москве Практический союз, целью которого было содействовать освобождению от крепостной зависимости дворовых людей. «Обязанность члена, — заявил Пущин на следствии по делу декабристов в показаниях от 11 января 1826 года, — состояла в том, чтоб непременно не иметь при своей услуге крепостных людей, если он вправе их освободить; — если же он еще не управляет своим имением, то по вступлении в управление оного через 5 лет должен непременно выполнить обязанность свою. Сверх того при всяком случае, где есть возможность к освобождению какого-нибудь лица, оказывать должен пособие, — или денежное или какое-либо другое по мере возможности».

Сохранилось много свидетельств о том, как оживилась деятельность московской управы тайного общества при Пущине. Борьба за справедливость, высокие идеалы равенства и свободы стали главным делом Пущина. Как же случилось, что Пушкин не знал о том, что составляло самое важное в жизни его друга?

В своих «Записках» Пущин не раз возвращается мыс-

лью к разговорам с Пушкиным. Поэт подозревал о существовании какой-то тайны, расспрашивал. Пущин отмалчивался, хотя ему это было очень трудно. «Первая моя мысль, — вспоминает он, — была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою...» Однако Пущин этого не сделал. Он пишет, что, вступив на новое поприще, во многом изменился: «...стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие». Он стал по-особенному требователен к себе и к окружающим. «Подвижность пылкого нрава» друга тревожила его. «Странное смешение в этом великолепном создании! — писал он о Пушкине. — Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание». Только через много лет Пущин понял: «Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза». Тогда же, в юности, Пущин пришел к единственному решению, как ни трудно оно ему далось. «...Малейшая неосторожность, — думал он, — могла быть пагубна всему делу... Я... сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном пред целию самого союза».

Пущин принял в общество только одного человека — Рылеева.

Позднее, когда в далекую сибирскую глушь до ссыльных декабристов дошла весть о трагической гибели великого поэта, они задавали себе вопрос: правильно ли они поступили, не посвятив Пушкина в свою тайну? Ведь тогда бы он остался жив. Сын декабриста С. Г. Волконского, одного из активнейших участников заговора, вспоминал со слов отца: «...Моему отцу было поручено принять его (Пушкина) в общество... отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха, а теперь, что его убили, я жалею об этом...»

Мучился и Пущин. Однако понимал: Сибирь могла бы погубить могучий талант Пушкина. «...Простор и свобода, для всякого человека бесценные, — пишет он в своих «Записках», — для него были, сверх того, могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть через железные решетки, а о жизни людей разве только слышать».

Сам же Пущин провел в сибирском изгнании около тридцати лет...

14 декабря 1825 года вместе со своими братьями по духу вышел он на Сенатскую площадь. Но до этого была еще одна встреча с Пушкиным — уже последняя.

Осенью 1824 года поэт был выслан из Одессы в Псковскую губернию, в деревню отца своего — Михайловское. «С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его», — как обычно, очень просто напишет потом Пущин в своих «Записках». Мысль тем не менее была очень смелая!

Пушкин находился в Михайловском под строжайшим надзором. И Пущин, решив повидаться с ним, конечно, многим рисковал. Однако в ответ на предостережения говорил одно: «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении...» И навестил — провел вместе с Пущ-

киным день, может быть, самый счастливый для обоих. Освещенный немеркнущим светом пушкинской поэзии, день этот останется и в памяти потомков.

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Не раз возвращался Пушкин мыслью к ссыльным друзьям, к Пущину. Их судьба мучила его, не давала покоя. «Повешенные повешены, — писал он Вяземскому, — но каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна». Последовательно и настойчиво пытался Пушкин внушить Николаю I мысль быть милостивым, простить декабристов. Совсем не случайно появляются в его произведениях образы «добрых» царей, не держащих зла на своих бывших врагов. Петр I (стихотворение «Пир Петра I») примиряется с подданным, прощает ему его вину:

...Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Дук (поэма «Анджело») прощает «злодея» Анджело: «И Дук его простил», Екатерина II (повесть «Капитанская дочка») милует «государственного преступника» Пет-

ра Гринева. В знаменитых «Стансах» Пушкин обращается к царю с недвусмысленным призывом:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

И здесь поэт напоминает Николаю о Петре I, умевшем быть милостивым к своим врагам... Можно вспомнить и другие произведения поэта. «И милость к падшим призывал», — с полным правом писал Пушкин в «Памятнике», имея в виду именно эту свою борьбу за судьбу сосланных товарищей[1].

Однако царь не внял увещеваниям поэта. Декабристы были амнистированы только после смерти Николая I — в 1856 году.

Через тридцать с лишним лет получил долгожданную свободу и Иван Иванович Пущин. Жизнь осталась позади. Пущин вернулся из ссылки больным, «настрадавшимся досыта», как он напишет в одном из писем. И тем не менее твердый его дух не был сломлен. Сломить его было просто невозможно. Чтобы понять это, стоит вернуться назад, к декабрьским событиям 1825 года.

Пущин был в Москве, когда пришла весть о смерти в Таганроге Александра I. Тут же, не медля, поспешил в Петербург. С членами Верховной думы у него была давняя договоренность: в случае какого-либо важного происшествия тотчас же явиться в столицу, чтобы действовать вместе. Такой момент наступил. Если раньше Пущин считал, что торопиться нельзя, что к восстанию еще долго

[1] Обстоятельно и глубоко эта тема проанализирована в книге С. М. Бонди «О Пушкине». М., «Художественная литература», 1978 (статья «Памятник»).

нужно готовиться, то теперь он понимал: представившийся случай упускать нельзя.

«Когда вы получите сие письмо, все будет решено,— писал он 12 декабря в Москву товарищу по тайному обществу С. М. Семенову.— Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов».

По приезде в Петербург Пущин сразу же вошел в центр организации восстания. Собирались у Рылеева. Вырабатывали план действий, обдумывали и составляли манифесты от имени временного правительства. Известно, что Пущин распространял списки конституции, составленной Никитой Муравьевым, с тем чтобы члены общества, ознакомившись с ней, могли представить свои замечания. Пущин считал, что основы государственного устройства должны быть определены представителями всего народа после победы восстания. С предложением арестовать царскую семью был согласен: новый порядок должен был быть избавлен от претендентов на управление государством.

13 декабря вечером состоялось последнее совещание у Рылеева. Пущин был собран, решителен, старался внушить присутствующим уверенность в успешном исходе восстания. Вместе с друзьями он обнял Каховского, готового по приговору Верховной думы убить завтра нового царя Николая I.

Утром 14 декабря Пущин одним из первых пришел на Сенатскую площадь. С. П. Трубецкого, назначенного руководить восставшими войсками, на площади не было. Пущин вместе с Рылеевым отправился к нему, чтобы убедить выполнить свой долг. Однако Трубецкой, потерявший веру в успех, так и не явился. Пущин принял участие в командовании. А. Е. Розен вспоминает: «Всех бодрее

в каре стоял И. И. Пущин. Хотя он, как отставной, был не в военной одежде, но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость». Так же характеризует действия Пущина и А. А. Бестужев: «В день действия Иван Пущин был на площади, ободрял солдат, и даже когда никто не принял команды, он взял это на себя, сказав солдатам, что служил в военной службе... Он говорил, что необходимо еще подождать темноты, что тогда, может быть, перейдут кой-какие полки на нашу сторону».

Сын декабриста И. Д. Якушкина записывает со слов очевидцев: «Когда коннопионерный эскадрон, получивший приказание занять Английскую набережную, пустился рысью между каре Московского полка и Сенатом, солдаты, думая, что коннопионеры идут в атаку, открыли по ним огонь; офицеры, видевшие, что это не атака, кричали солдатам, чтобы они перестали стрелять, но те не прекращали огня, так как выстрелы заглушали отдаваемые приказания. Один Пущин нашелся в эту минуту. Он закричал барабанщику: «бей отбой»; барабанщик ударил отбой, и стрельба прекратилась».

Артиллерия по приказу Николая I открыла стрельбу по восставшим войскам. Пущин и тогда остался спокойным: советовал народу, окружавшему площадь, разойтись во избежание лишних жертв. Сам же находился на площади до самого конца. «В колонне оставался до тех пор, пока оная не расстроилась от выстрела картечного», — засвидетельствует он потом на следствии.

Наутро сестра зашивала его шубу, простреленную во многих местах картечью.

Весь день 15 декабря Пущин оставался свободным. Существует легенда (рассказ Е. И. Якушкина, будто бы записанный им со слов самого Пущина), что в тот день рано утром пришел к нему его лицейский товарищ А. М. Горчаков и принес заграничный паспорт. «Он умолял его, — пишет Якушкин, — ехать немедленно за границу, обе-

щаясь доставить на иностранный корабль, готовый к отплытию. Пущин не согласился, несмотря на горячие убеждения своего товарища. Он считал постыдным для себя избавиться бегством от той участи, которая ожидала других членов тайного общества. Он действовал между ними и хотел разделить их судьбу».

Насколько все это достоверно, судить трудно. Одно несомненно: Пущин не пытался скрыться, хотя не мог, конечно, не знать, что ожидает его: аресты начались уже четырнадцатого ночью.

16 декабря рано утром Пущин был доставлен на гауптвахту. Арестованный раньше, М. И. Пущин (тоже декабрист) видел, как привезли его брата «со связанными руками, в сопровождении фельдъегеря и двух жандармов верхом с обнаженными саблями». На следующий день Иван Пущин был посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 17 декабря он дает первые показания.

«Имя и чин ваш?

— Коллежский асессор Пущин, служащий Судьею Московского Надворного Суда I департамента.

Принадлежали ли Тайному обществу? Кем в оное были приняты? и в чем заключалось намерение оного?

— Состою я в обществе более четырех лет, принят в оное служившим в Киевском Гренадерском полку Шт.-Капитаном Беляевым... Цель общества была — обузданио законами власти правительства. По правилам же общества всякий из сочленов был неизвестен о действиях других, почему решительно не знаю, есть ли отрасли и гдо оныя находятся.

Имел ли брат ваш сношения с обществом и принадлежал ли оному?

— Брату моему о существовании общества никогда но говорил и, находясь в нем, считал лишним повергнуть его опасности...»

20 декабря Пущину были заданы дополнительные вопросы.

«Вы находились в Московском тайном обществе; кто оного сочлен?

— В Обществе Московском нахожусь я столь недавно, что членов оного знаю немного. В сношениях был я из оных с П. Черевиным, свитск. офицером...

Когда приняли намерение исполнить цель свою 14 числа сего месяца, известили ли о том Москву и чрез кого?

— Сам я никого не посылал и не знаю, послал ли кто-нибудь, ибо после происшествия я никого не видал».

Как видим, допрашивать Пущина было нелегко. В своих ответах он осторожен и сдержан. Его показания — самые короткие из всех.

Но самое главное — это благородство Пущина по отношению к своим товарищам по борьбе. Он не только не называет участников заговора, неизвестных следствию,— в его показаниях упорно фигурируют либо вымышленные имена, либо имена умерших людей. Долго пришлось следственной комиссии искать капитана Беляева, якобы принявшего Пущина в общество. Не мог помочь в этом и Павел Черевин, у которого, по словам Пущина, он с Беляевым познакомился: год назад Черевин скончался... Только через пять месяцев, 19 мая, когда следственная комиссия предъявила Пущину показания других декабристов, свидетельствовавших, что он был принят в общество в 1817 году полковником Бурцовым, Пущин согласился: «...Беляев есть вымышленное лицо...»

Ответы Пущина никак не могли удовлетворить следственную комиссию.

Ей требовались имена, факты, Пущин же отвечал неопределенно и уклончиво. Его спрашивали: **«С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно?**

Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?» В ответ слышали: «Свободный образ мыслей по естественному ходу духа времени заимствовал из чтения политических книг, коим занимался по выходе из Лицея в свободное время от службы. Никто не способствовал к укоренению сих мыслей во мне».

28 декабря Пущину был учинен допрос в присутствии следственной комиссии, собравшейся на этот раз в полном составе.

«Убежденный в горестном положении отечества моего, — отвечал он смело, — я вступил в общество с надеждой, что в совокупности с другими могу быть России полезным — слабыми моими способностями и иметь влияние на перемену правительства оной». Был задан вопрос: **«Какими средствами располагали вы действовать для достижения того, как вы сами показали, чтобы ограничить власть правительства? и на чем основали возможность такого предприятия?»** Ответ звучал прямо: «По приезде моем в Петербург за шесть дней до происшествия 14-го числа, слыша о распространившемся слухе об отречении Константина Павловича от Престола и об нежелании некоторых гвардейских полков присягать наследнику его, я полагал, что воспользоваться сим неудовольствием войск весьма можно для исполнения цели общества. Возможность сего предприятия основывал я на военной силе, которая в состоянии будет отстранить царствующий дом от Престола и руководимая членами общества требовать от высших правительствующих мест учреждения временного правления впредь до собрания Государственных чинов для совещания о Государственном новом устройстве...»

Пущин держался с необыкновенным достоинством. На требование комиссии назвать имена членов учрежденного им в Москве Практического союза смело заявил: «Поименовывать членов сего союза я почитаю излишним, ибо сие не входит в состав требования Комитета...» Разумеется,

такой ответ вызвал неудовольствие комиссии: допрашиваемому велено было «не умствовать и не рассуждать».

Следствие тянулось семь месяцев. Друзья, близкие декабристов с напряжением ждали решения нового царя. Глубоко волновала участь товарищей и Пушкина. Известия об арестах, о разгроме восстания смерчем ворвались в мирное течение его михайловской жизни... На полях рукописей «Евгения Онегина», над которым он тогда вдохновенно работал, появляются рисунки: это портреты друзей-«мятежников». Кюхельбекер, Рылеев, Пущин... Юное, еще безусое лицо «первого друга», а ниже — совсем другой Пущин — усталый, со скорбной складкой на лбу... Тут же и автопортрет — голова в кудрях, молодость... Поэт верен идеалам юности. Эта верность — на всю жизнь.

«Я... был связан с большею частью заговорщиков»,— смело пишет он Жуковскому в дни, когда в Петербурге еще идет следствие. И уже позднее, «помилованный», возвращенный из ссылки, прямо ответит на вопрос царя, что бы он делал, если бы был в дни восстания в Петербурге: «Встал бы в ряды мятежников!»

Тогда же, в Михайловском, волнуется, ждет, надеется: «Но что Ив. Пущин? Мне сказывали, что 20, т. е. сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую» (из письма к А. А. Дельвигу от 20 февраля 1826 г.).

Надежды не оправдались. 13 июля 1826 года был зачитан приговор. Пущина зачисляют в категорию «государственных преступников первого разряда», поначалу приговоренных к «смертной казни отсечением головы». Затем смертная казнь была заменена ссылкой «вечно на каторжные работы». Еще через несколько дней срок каторжных работ Пущину определяется в двадцать лет, с последующей ссылкой на поселение в Сибирь.

Рассказывают, что во время чтения приговора Пущин — единственный из декабристов — пытался протестовать. Однако, вспоминает декабрист П. Н. Свистунов, Лобанов, министр юстиции, «зашикал и приказал увести весь первый разряд, в коем он находился».

...Потянулись долгие годы заточения. Сначала — пятнадцатимесячное пребывание в Шлиссельбургской крепости, где декабристов, по словам И. Д. Якушкина, содержали строго («...никогда они не сообщаются между собой и никогда не выходят из своих казематов»). Затем — Читинский острог. Пущин, как всегда, необыкновенно тверд, спокоен, силен духом. Свойственные ему оптимизм, доброта, сердечная привязанность к друзьям, любовь и доброжелательность к людям помогали не сломиться в горе, сохранить и в тяжелейших испытаниях, выпавших на его долю, ощущение полноты и радости бытия. Через четырнадцать лет тюрьмы и каторги он пишет лицейским друзьям-декабристам: «Главное — не надо утрачивать поэзию жизни: она меня до сих пор поддерживала, — горе тому из нас, который лишится этого утешения в исключительном нашем положении».

Это поразительно, но нигде, никогда, ни в одном из пущинских писем (а их дошло до нас почти семьсот) мы не найдем ни сетований, ни жалоб. Больше того! Он умеет внушить родным, близким, друзьям бодрость, присутствие духа, спокойствие за свою судьбу. Уже в первых письмах с дороги (по пути в Читу) находим удивительные строки:

«Вы увидите из нескольких слов, сколько можно быть счастливым и в самом горе...»

«Для меня эти два года истинно были полезны — я научился терпению, которого у меня недоставало, научился между тем зрело рассуждать...»

«Сегодня в 8 часов утра мы переехали Иртыш и увидели на горе Тобольск. День превосходный, зимний, и мы опять в санях. Ясно утро — ясна душа моя...»

«Я часто вспоминаю слова ваши, — пишет он тогда же бывшему директору Лицея Е. А. Энгельгардту, с которым всю жизнь его связывало чувство самой нежной дружбы, — что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Благодаря бога я во всех положениях довольно спокоен...»

Свыше двух с половиной лет пробыл Пущин в Читинском остроге. Потом вместе с другими декабристами был переведен в Иркутскую область, в Петровский Завод, в специально выстроенную тюрьму, где много и тяжело приходилось работать — засыпать землей огромный овраг под названием Чертова могила, на ручных мельницах молоть муку.

Совместное поселение декабристов в Петровском (из-за удобства надзора и во избежание вредной пропаганды), может быть, спасло многих из них. М. А. Бестужев вспоминает в своих «Записках»: «Если бы мы были рассеяны по заводам, как гласил закон и как уже было поступлено с семью из наших товарищей, то не прошло бы и десяти лет, как мы все наверно погибли... или пали бы морально под гнетом нужды и лишений, погибли бы под гнетом мук со стороны ближайших приставников наших... или, наконец, сошли с ума от скуки и мучений. Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге... доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».

И здесь Пущин был одним из тех, кто умел объединить людей, протянуть руку помощи нуждающимся, поддержать слабого. Он был душой и главным деятелем артелей, созданных декабристами для поддержания малоимущих товарищей. Одна артель — для тех, кто находил-

ся в тюрьме или на поселении, другая — для помощи уже отбывшим свой срок и их семьям. Он не только умело организовал работу артелей — сам был активным их пайщиком, делился всем, что имел.

И вообще заботился о людях постоянно. Чувство ответственности, долга было главной его чертой. «В Чите и Петровском, — вспоминает о Пущине декабрист Н. В. Басаргин, — находясь вместе со всеми нами, он только и хлопотал о том, чтобы никто из его товарищей не нуждался. Присылаемые родными деньги клал почти все в общую артель и жил сам очень скромно, никогда почти не был без долгов, которые при первой высылке денег спешил уплатить, оставаясь иногда без копейки и нуждаясь часто в необходимом».

В 1839 году после двенадцати лет каторжных работ Пущин был выслан на поселение. Сначала жил в Туринске Тобольской губернии, через четыре года ему разрешено было переехать в Ялуторовск. И здесь, на поселении, не думал о себе, хозяйством большим не обзавелся — некогда было, да и зачем? Поначалу даже как бы растерялся, тосковал. «У меня голова кругом идет, не могу еще привыкнуть к безказематной жизни... — писал он другу декабристу Е. П. Оболенскому, — трудно, брат, нам справляться с практической жизнью, мы совершенно от нее отстали». И в другом письме — И. В. Малиновскому: «Ты воображаешь меня хозяином — напрасно. На это нет призвания, разве со временем разовьется способность...»

Нет, не «развилась»: «хозяином» Пущин так и не стал. Нашел себе другие занятия, которые были больше по душе. Много читал, переводил, бесконечно хлопотал о делах друзей, да, впрочем, и всякого, кто обращался к нему с просьбой. Принимал участие в знаменитых ланкастерских школах, основанных декабристом И. Д. Якушкиным в Ялуторовске, учил детей местных жителей у себя дома, просил в Тобольском губернском правлении об улучшении

положения ялуторовских учителей. Добивался и добился разрешения отправить к родственникам в Петербург осиротевших детей декабриста В. П. Ивашева, с которыми жил больше полугода, хлопотал через своих родных в столице за декабриста В. И. Штейнгеля, опекал поселившуюся у него в доме вдову Кюхельбекера с двумя детьми... Всех дел Пущина не перечислить.

«Его демократические понятия, — вспоминает Е. И. Якушкин, познакомившийся с Пущиным, когда тому было уже 55 лет,— вошли в его плоть и кровь: в какое бы положение его ни ставили обстоятельства, с какими бы людьми ни сталкивала его судьба, он был всегда верен самому себе, всегда был одинаков со всеми...»

И по возвращении в Россию больной, измученный тяготами сибирской жизни, 58-летний Пущин продолжает свою неутомимую деятельность. Как казначей Малой артели, он собирает деньги, рассылает их нуждающимся декабристам и их семьям, хлопочет за И. Д. Якушкина, которому власти не разрешают жить в Москве, разыскивает дочь К. Ф. Рылеева, с тем чтобы уплатить ей деньги, взятые когда-то в долг у ее отца, пытается осуществить издание сочинений Рылеева... Живо интересуется новостями общественной и литературной жизни, сочувственно следит за революционно-пропагандистской деятельностью Герцена, внимательно читает издаваемый им «Колокол». Живя в селе Марьине — в подмосковном имении своей жены, вдовы декабриста М. А. Фонвизина (женился Пущин через несколько месяцев после возвращения из Сибири), ведет, как всегда, огромную переписку. Деятельно участвует в делах своих друзей, вернувшихся из ссылки, по-прежнему оставаясь тем духовным центром, вокруг которого объединяются товарищи по судьбе. Декабристы отвечают Пущину сердечной благодарностью и любовью, понимая, сколь велико значение его «объединительной» работы. «Пусть окрепший Иван стоит по-прежнему баш-

ней на нашей общинной ратуше, — пишет ему Г. С. Батеньков. — И теперь она, хоть одинокая, все же вмещает в себя лучшее наше справочное место и язык среди чужого, незнакомого населения».

Но все сильнее одолевали болезни. Уже не может писать сам — последние письма диктует. 3 апреля 1859 года Ивана Ивановича Пущина не стало.

Как напишет потом декабрист Н. Цебриков, он умер, сохранив «свои верования, свои убеждения до последней минуты».

Но самое главное, что было сделано Пущиным в последние годы его жизни, — это его «Записки о Пушкине».

Он начал писать их по настоянию Е. И. Якушкина, которому еще в бытность свою в Сибири много рассказывал о друге-поэте.

Первое упоминание о начале работы — в письме к жене от 25 февраля 1858 года: «Эти дни я все думаю и пишу о Пушкине». Через несколько месяцев, 15 августа, Пущин пересылает Якушкину готовую рукопись: «Вот вам... окончательные листы моей рукописи... Прошу вас, добрый Евгений Иванович, переплесть ее в том виде, как она к вам явилась, — в воспоминание обо мне!»

Работая над «Записками», Пущин вновь и вновь переносился в годы своей молодости, к друзьям-лицеистам, к Пушкину. Впрочем, память о юности, о Лицее, о первом «друге-товарище» никогда не умирала в нем. «...Некоторые воспоминания не стареют, а укрепляются временем. — Лицей в том числе для меня...» — так писал он из Сибири Е. А. Энгельгардту. Всякая весть о лицейских друзьях была для него праздником. «Где и что с нашими добрыми товарищами?..» — в каждом сибирском письме к Энгельгардту этот настойчивый вопрос.

«Сегодня я без пощады заставлю вас мною заниматься. Кончив разговор дельный, хочется немного поболтать с вами о старине нашей. Как водится, 19 октября я был с вами, только еще не знаю, где и кто из наших вас окружал. Тут у меня обыкновенно рассказы, которые и здесь между товарищами находят сочувствие...»

«Приветствуйте всех однокашников за меня. Может быть, 9-е число соединит наличных представителей 1817 года. Тут же вспомните и отсутствующих; между ними не все ходят с звездами, которые светили нам на пороге жизни. Соединение там, где каждый явится с окончательным своим итогом».

«9 июня.

Сегодня проснулся в лицейском зале. Поистерся немного чугун на моем кольце (в память о Лицее Энгельгардт заказал для всех лицеистов чугунные кольца. — *С. С.*), но воспоминание свежо. Мысленно мы, верно, с вами встретились; верно, вы взглянули на ваш первокурсный список и помянули живых, мертвых и полуживых и полумертвых. Нелегко мыслью пройти расстояние от 1817 до 1845...»

19 октября — день открытия Лицея и 9 июня — день выпуска всегда оставались для Пущина особыми днями. Такими же дорогими были эти дни и для многих лицеистов.

Отмечал лицейские годовщины и Пушкин — стихами:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли!

Пущин услышал голос друга-поэта (Энгельгардт прислал ему эти пушкинские стихи, написанные на десятую годовщину — в 1827 году). Он скажет потом в своих «Записках»: «...Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке».

Удивительным было оно, это лицейское братство!

Пущин обращается из Сибири к бывшему однокашнику, в то время уже контр-адмиралу Ф. Ф. Матюшкину с просьбой — подыскать фортепиано для своей дочки Аннушки. «Прошу только об одном, — добавляет Пущин в письме,— если нельзя, то сделай как будто я и не говорил тебе о теперешнем моем желании. Чтоб просьба моя ни на волос тебя не затрудняла... В будущем году этот долг уплотится...» Через несколько месяцев фортепиано было у Пущина. Друзья прислали его в подарок. Выбирал Яковлев, музыкант, тоже товарищ по Лицею. «Принимаю ваш подарок с тем же чувством, с которым вы его послали мне, далекому, — писал растроганный Пущин. — Фортепиано в Сибири будет известно под именем лицейского... Аннушка вместе с музыкой будет на нем учиться знать и любить старый Лицей!.. Если б вы знали, как все это перенесло меня в ваш круг. Забываю, что мильон лет мы расстались. — Кажется, как будто вчера отправился в Сибирь...» И это сказано почти через тридцать лет после последней встречи!

Да, Пушкин оказался пророком, когда написал о себе и своих друзьях по юности:

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Первое, что Пущин делает, вернувшись из ссылки, — едет в Лицей. Н. И. Лорер, дядя А. О. Смирновой-Россет, вспоминает, как он вместе с Пущиным приезжал к пле-

мяннице. Они взяли с собою ее старшую дочь Ольгу, показали ей в Лицее комнату Пушкина и его место в классной комнате и отслужили по нем панихиду. «Пущин, — рассказывает Лорер, — был растроган. Он много говорил со Смирновыми о Пушкине».

«...Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил...» — писал Пущин в своих «Записках».

«Немудрым рассказом» назвал он свои воспоминания. И в самом деле, перед нами — искреннее и естественное повествование о том, что сохранила сердечная память. А она сохранила самое главное: живой, неумирающий образ «первого друга» — великого русского поэта Александра Пушкина.

Во весь рост встает со страниц «Записок» и сам их автор — человек, по словам лицеиста Корфа, «со светлым умом, с чистою душою...». Человек, которого любил Пушкин.

С. Д. Селиванова



ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

Е. И. Якушкину

Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься! — и то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ.

Собираясь теперь проверить былое с некоторою отчетливостию, я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее тогдашний мой дневник, который продолжал с лишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное, всплыли бы некоторые заветные мелочи — печать того времени. Не знаю, почему тогда вдруг мне показалось, что нескромно вынимать из тайника сердца заревые его трепетания, волнения, заблуждения и верования! Теперь самому любопытно было бы взглянуть на себя тогдашнего, с тогдашнею обстановкою; но дело кончено: тетради в печке и поправить беды невозможно.

Впрочем, вы не будете тут искать исторической точности; прошу смотреть без излишней взыскательности на мои воспоминания о человеке, мне близком с самого нашего детства: я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ.

Невольным образом в этом рассказе замешивается и собственная моя личность; прошу не обращать на нее внимания. Придется, может быть, и об Лицее сказать словечко: вы это простите, как воспоминания, до сих пор живые! Одним словом, все сдаю вам, как вылилось на бумагу.

1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Старик, с лишком восьмидесятилетний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его же просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России, — не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже в 1817 году, когда после выпуска мы, шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам гр. Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... Лицей!» — поклонился, повернул лошадь и ускакал. — Надобно сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частию тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его. Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы, под покровом дяди Рябинина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая

почти вся наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. — Я слышу: Ал. Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно миловиден. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню, кто, только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин, в свою очередь, познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.

Скоро начали нас вызывать поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, что оба его внука выдержали экзамен, но что из нас двоих один только может быть принят в Лицей, на том основании, что правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением. На волю деда отдавалось решить, который из его внуков должен поступить. Дедушка выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее. Таким образом я сделался товарищем Пушкина. О его приеме я узнал при первой встрече у директора нашего В. Ф. Малиновского, куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для

примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. На этих свиданиях мы все больше или меньше ознакомились. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отправился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтобы не даром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня. Часто, в его отсутствие, мы оставались с Анной Николаевной <Ворожейкиной>. Она подчас нас, птенцов, приголубливала; случалось, что и прибранит, когда мы надоедали ей нашими рановременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами побалагурить и пошалить, а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностью и некоторой свободою в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из других товарищей видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к себе приглашала.

Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче

находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым, признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения, очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острову, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.

Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В Лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Как водится, я поплакал, расставаясь с домашними; сестры успокаивали меня тем, что будут навещать по праздникам, а на рождество возьмут домой. Повез меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной к Разумовскому. В Царском мы вошли к директору: его дом был рядом с Лицеем. Василий Федорович поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Урбановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная дощечка с надписью: № 13. Иван Пущин; я взглянул налево и увидел: № 14. Александр Пушкин. Очень был рад такому соседу, но его еще не было, дверь была заперта. Меня тотчас ввели во владение моей комнаты, одели с ног до головы в казенное, тут приготовленное, и пустили в залу, где уже двигались многие новобранцы. Мелкого нашего народу с каждым днем прибыва-

ло. Мы знакомились поближе друг с другом, знакомились и с роскошным нашим новосельем. Постоянных классов до официального открытия Лицея не было, но некоторые профессора приходили заниматься с нами, предварительно испытывая силы каждого и, таким образом, знакомясь с нами, приучали нас, в свою очередь, к себе.

Все тридцать воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониала в полной форме, то есть вводили нас известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и учили кланяться по направлению к месту, где будет сидеть император и высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены неловкости и ребяческой наивности.

Настало наконец 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

В лицейском зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гувернеры; по левую — профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось,

министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, в. к. Константина Павловича и в. к. Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, тогдашний директор департамента министерства народного просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. (Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Я не знаю, есть ли и теперь другое, на этом основании существующее. Слышал даже, что и в Лицее, при императоре Николае, разрешено наказывать с родительскою нежностью лозою смирения.)

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский, со свертком в руке. Бледный как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.

Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но, по мере того как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел,

а в наклоненном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося перед открытием Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру.

Куницын вполне оправдал внимание царя: он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...*

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императриц осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Марья Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтоб он не приподнимался, и спросила его: *«Карош сун?»* Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur!»** Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной

* Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года.
** Да, месье!

русский выговор, которым сделан был ему вопрос, — только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов сонника <сразу> попал на зубок; долго преследовала его кличка: monsieur.

Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостью ко всем; она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово.

Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней:

На лире скромной, благородной...— *и проч.**

Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!»

Пока мы обедали — и цари удалились, и публика разошлась. У графа Разумовского был обед для сановников; а педагогию петербургскую и нашу лицейскую угощал директор в одной из классных зал. Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина.

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он как душа неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен!
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы; нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село**.

---

* Изд. Анненкова, т. VII, стр. 25. Г-н Анненков напрасно относит эти стихи к 1819 году; они написаны в Лицее в 1816-м.

** Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года.

Дельвиг, в прощальной песне 1817 года, за нас всех вспоминает этот день:

> Тебе, наш царь, благодаренье!
> Ты сам нас юных съединил
> И в сем святом уединеньи
> На службу музам посвятил.

Вечером нас угощали десертом á discrétion* вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были плошки, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима. Все посетители приезжали из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического института. Он так был проникнут ощущениями этого дня и в особенности речью Куницына, что в тот же вечер, возвратясь домой, перевел ее на немецкий язык, написал маленькую статью и все отослал в дерптский журнал. Этот почтенный человек не предвидел тогда, что ему придется быть директором Лицея в продолжение трех первых выпусков.

Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно поста-

---

* Вволю.

новлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своей неожиданностью. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы.

Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслью Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитывать с нами своих братьев, великих князей Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сближение сыновей своих, особ царственных, с нами, плебеями.

Для Лицея отведен был огромный, четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее; во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией; в третьем — рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом чрез

хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были компаты: всего пятьдесят нумеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувернера Чирикова, над библиотекой.

В каждой комнате — железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.

Таково было новоселье наше!

При всех этих удобствах нам нетрудно было привыкнуть к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале — мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди.

От 7 до 9 часов — класс.

В 9 — чай; прогулка — до 10.

От 10 до 12 — класс.

От 12 до часу — прогулка.

В час — обед.

От 2 до 3 — или чистописанье, или рисованье.

От 3 до 5 — класс.

В 5 часов — чай; до 6 — прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный класс.

По середам и субботам — танцеванье или фехтованье.

Каждую субботу баня.

В половине 9 часа — звонок к ужину.

После ужина до 10 часов — рекреация. В 10 — вечерняя молитва, сон.

В коридоре на ночь ставили ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням — синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего; но зато, по праздникам, мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми — во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты, треугольная шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде оставались до обеда. Ненужная эта форма, отпечаток того времени, постепенно уничтожилась: брошены ботфорты, белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевалась нами, только когда учились фронту в гвардейском образцовом баталионе.

Белье содержалось в порядке особою кастеляншею; в наше время была m-me Скалон. У каждого была своя печатная метка: нумер и фамилия. Белье переменялось на теле два раза, а столовое и на постели раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву в бакенбарды. При утреннем чае — крупитчатая белая булка, за вечерним — полбулки. В столовой, по понедельникам, выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.

Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались квасом и чистою водой.

При нас было несколько дядек: они заведовали чисткой платья, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, екатерининский сержант, польский шляхтич Леонтий Кемерский, сделавшийся нашим домашним restaurant. У него явился уголок, где мож-

но было найти конфекты, выпить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру — разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом, вместо казенного чая, ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей. Был и молодой Сазонов, необыкновенное явление физиологическое; Галль нашел бы, несомненно, подтверждение своей системы в его черепе:

Сазонов был моим слугою
И Пешель доктором моим.

Стих Пушкина.

Слишком долго рассказывать преступления этого парня; оно же и не идет к делу.

Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой торжественной за братьями летел...*

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году, в стихах на возвращение императора из Парижа.

* Изд. Анненкова, т. II, стр. 77.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал нам их громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам не доступное.

Таким образом мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в этой семье — свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь; тут образовались связи на всю жизнь.

Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его нумера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того,

что называется *тактом*, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных столкновений вседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственною ей иногда пошлостью. Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось.

Вот почему, может быть, Пушкин говорил впоследствии:

Товарищ милый, друг прямой!
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку.
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
И тотчас помиримся.*

Потом опять, в 1817 году, в альбоме, перед самым выпуском, он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья.

---

* Пирующие студенты. Изд. Анненкова, т. II, стр. 19.

Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! Она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!*

Лицейское наше шестилетие, в историко-хронологическом отношении, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отделяющимися: директорством Малиновского, междуцарствием (то есть управление профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта.

Не пугайтесь! Я не поведу вас этой длинной дорогой, она вас утомит. Не станем делать изысканий; все подробности вседневной нашей жизни, близкой нам и памятной, должны оставаться достоянием нашим; нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось, но мы и теперь молодеем, когда, собравшись, заглядываем в эту даль. Довольно, если припомню кой-что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При самом начале — он наш поэт. Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда окончив лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 1811 году, и никак не позже первых месяцев 12-го. Упоминаю об этом потому, что ни Бартенев, ни Анненков ничего об этом не упоминают.

---

* Изд. Анненкова, т. II, стр. 170.

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы и проч. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку*.

Сегодня расскажу вам историю гогель-могеля, которая сохранилась в летописях Лицея. Шалость приняла серьезный характер и могла иметь пагубное влияние и на Пушкина и на меня, как вы сами увидите.

Мы, то есть я, Малиновский и Пушкин, затеяли выпить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас были и другие участники в этой

---

* Из уважения к истине должен кстати заметить, что г. Анненков приписывает Пушкину мою прозу (т. II, стр. 29, VI). Я говорю про статью «Об эпиграмме и надписи у древних». Статью эту я перевел из Ла-Гарпа и просил Пушкина перевести для меня стихи, которые в ней приведены. Все это, за подписью П., отправил я к Вл. Измайлову, тогдашнему издателю «Вестника Европы». Потом к нему же послал другой перевод, из Лафатера: «О путешествиях». Тут уж я скрывался под буквами ъ — ъ. Обе эти статьи были напечатаны. Письма мои передавались на почту из нашего дома в Петербурге; я просил туда же адресоваться ко мне в случае надобности. Измайлов до того был в заблуждении, что благодаря меня за переводы, просил сообщать ему для его журнала известия о петербургском театре; он был уверен, что я живу в Петербурге и непременно театрал, между тем как я сидел еще на лицейской скамье. Тетради барона Модеста Корфа ввели Анненкова в ошибку, для меня очень лестную, если бы меня тревожило авторское самолюбие.

вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, а именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот, после ужина, всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни виноваты.

Исправлявший тогда должность директора профессор Гауеншильд донес министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим не кончилось, — дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее:

1) Две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы,

2) Сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению, и

3) Занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально. Второй смягчался по усмотрению начальства: нас, по истечении некоторого времени, постепенно подвигали опять вверх. При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

На этом конце стола раздавалось кушанье дежурным гувернером. Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выпуске представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где только мы и были записаны, он

ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на всю будущность после выпуска. Все тотчас же согласились с его мнением, и дело было сдано в архив.

Гогель-могель — ключ к посланию Пушкина ко мне:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?
Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном уголке,
С Вакхом нежились лениво
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?
Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдруг педанта глаз ужасный
Нам послышался вдали —
И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.
Убегаем торопливо;
Вмиг исчез минутный страх;
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах.
Хохот чистого веселья,
Неподвижный тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор!
О друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год, в часы беспечны,
Поминать его вином*.

* Изд. Анненкова, т. II, стр. 217.

По случаю гогель-могеля Пушкин экспромтом сказал **в** подражание стихам И. И. Дмитриева:

(Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидоп,
По бокалу осушали
И прогнали мудрость вон... — *и проч.)*

Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали.
И Фому прогнали вон*.

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы кой-как вознаградили его за потерю места. Предполагается, что песню поет Малиновский, его фамилии не вломаешь в стих. Барон — для рифмы, означает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола выглядывали фигуры тех, которых нам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разумеется, нельзя было похвастать) наделало тогда много шуму и огорчило наших родных, благодаря премудрому распоряжению начальства. Все могло окончиться домашним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор Фролов не вздумали формальным образом донести министру...

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкой, очень хорошенькой. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на

---

* Остальных строф не номпю; этому с лишком сорок лет.

мои слова, всмотрелся, однако, в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами:

От всенощной, вечор, идя домой,
Антипьевна с Марфушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой, — кричит, — управлюсь я с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда, забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшею шалила?
Постой — о всем узнает муженек!»
«Тебе ль грозить,— Марфушка отвечает, —
Ванюша что? Ведь он еще дитя;
А сват Трофим, который у тебя
И день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь.
В чужой... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна».

«Вот что ты заставил меня написать, любезный друг», — сказал он, видя, что я несколько призадумался, выслушав его стихи, в которых поразило меня окончание. В эту минуту подошел к нам Кайданов, — мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочел свой рассказ.

Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал ему: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пущин, не давайте волю язычку», — прибавил он, обратясь ко мне. Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

Впрочем, надо сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: *нулю!* «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь

на свое место и пишите стихи». Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было; все делалось á livre ouvert*.

На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе»**. В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением.

Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать его и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати.

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать...— *и проч.* ***

Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке, которой тогда было семь или восемь лет. Стихи сами по себе очень милы, но для нас имеют особый ин-

* Без подготовки, с листа.
** Изд. Анненкова, т. II, стр. 81.
*** Там же, стр. 213.

терес. Корсаков положил их на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где Лицей имел право гражданства.

«Красавице, которая нюхала табак»*. Писано к Горчакова сестре, княгине Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и не знала и не читала этих стихов, плод разгоряченного молодого воображения.

К живописцу

Дитя харит, воображенья!
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши... — *и проч.***

Пушкин просит живописца написать портрет К. П. Бакуниной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!..

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих «Пирующих студентов». Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужий час настал,
Все тихо, все в покое...— *и проч.*

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слушаем:

Писатель! за свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

* Изд. Анненкова, т. II, стр. 217.
** Там же, стр. 69.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:

Любезный именинник...— *и проч.* —

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется в многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонировать и оставались в постоянном согласии. Кстати тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта.

У дворцовой гауптвахты, перед вечерней зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гуляющих в саду, разумеется, и нас, l'inévitable Lycée*, как называли иные нашу шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и княжна Волконская. У Волконской была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встретясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать; она многих из нас

*** Неминуемый, неизбежный Лицей.**

знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду?

Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин, на беду, был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама княжна Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки; но этого мало, надобно поправить дело, а дело неладно! Он тотчас рассказал мне про это, присоединясь к нам, стоявшим у оркестра. Я ему посоветовал открыться Энгельгардту и просить его защиты. Пушкин никак не соглашался довериться директору и хотел написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а Волконский — государю.

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что ж это будет? — говорит царь. — Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция, где действовал на первом плане граф Сильвестр Броглио, теперь сенатор Наполеона III*), но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей». Энгельгардт, своим путем, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича, который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он нашелся и отвечал императору Александру: «Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии: приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное

* Это сведение о Броглио оказалось несправедливым; он был избран французскими филеленами в начальники и убит в Греции в 1829 г.

оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз. La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous soit dit»*,— шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту. Пожал ему руку и пошел догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.

Таким образом дело кончилось необыкновенно хорошо. Мы все были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я, с своей стороны, старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично: он никак не сознавал этого, все уверяя меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оставалось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец я перестал настаивать, предоставя все времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве.

Невозможно передать вам всех подробностей нашего шестилетнего существования в Царском Селе: это было бы слишком сложно и громоздко; тут смесь и дельного

* «Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря».

и пустого. Между тем вся эта пестрота имела для нас свое очарование. С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, директор делал с нами дальние, иногда двухдневные, прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город, завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, на пруде, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод — опасная приманка и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах; этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечкиных, хотя и сам иногда попадал в эту категорию. Раз, на зимней нашей прогулке в саду, где расчищались кругом пруда дорожки, он говорит Есакову, с которым я часто ходил в паре:

И останешься с вопросом
На брегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?

Так точно, когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то успел написать мелом на дощечке у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

Я нечаянно увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте.

С лишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные его были против, опасаясь за его здоровье). Государь на это сказал: «В таком случае надо бы познакомить их с фронтом». Энгельгардт испугался и напрямик просил императора оставить Лицей, если в нем будет ружье. К этой просьбе присовокупил, что он никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, и показал садовый ножик. Долго они торговались; наконец государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел спросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук. Вследствие этого приказания поступил к нам инженерный полковник Эльснер, бывший адъютант Костюшки, преподавателем артиллерии, фортификации и тактики.

Было еще другого рода нападение на нас около того же времени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императрице Елизавете Алексеевне во время летнего ее пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и попрепятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что

в продолжение многих лет никогда не видал камер-пажа ни на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы.

Между нами мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности; но дело обошлось одними толками, и не знаю, почему из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где, на лошадях запасного эскадрона, учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот его куплет:

Bonjour, messieurs!* Потише.
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
A quand l'équitation?**

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса, с очерками личностей, которые потом заняли свои места в общественной сфере; большая часть из них уже исчезла, но оставила отрадное памятование в сердцах не одних своих товарищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя ею должна была

* Здравствуйте, господа!
** Когда же будем заниматься верховой ездой?

начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивою, незнакомою далью. Кто не спешил, в тогдашние наши годы, соскочить со школьной скамьи; но наша скамья была так заветно-приветлива, что невольно даже при мысли о наступающей свободе оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаньях и обетах, сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!*

Наполнились альбомы и стихами и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне на шестом листе этого рассказа.

Дельвига:

Прочтя сии набросанные строки
С небрежностью на памятном листке,
Как не узнать поэта по руке?
Как первые не вспомянуть уроки
И не сказать при дружеском столе:
«Друзья, у нас есть друг и в Хороле!»

Дельвиг после выпуска поехал в Хороль, где квартировал отец его, командовавший бригадой во внутренней страже.

Илличевского стихов не могу припомнить: знаю только, что они все кончались рифмой на Пущин. Это было очень оригинально.

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и изрисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через тридцать два года со всеми положенными мною рукописями.

---

9 июня был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие Лицея было пышно и торжественно, так вы-

* «Прощальная песнь» Дельвига.

пуск наш тих и скромен. В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра народного просвещения князя Голицына. Государь не взял с собой даже князя П. М. Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс, после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору, с объявлением чинов и наград.

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь — слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором. Государь и его не забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией и музыкой, понял слезу на глазах воспитанников и наставников. Простился с нами с обычною приветливостью и пошел во внутренние комнаты, взяв князя Голицына под руку. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к отъезду. «Это ничего, — возразил он, — я сегодня не в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей». И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики, — пахло отъездом! При выходе из Лицея государь признательно пожал руку Энгельгардту.

В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уже не застал его, когда приехал в Петербург.

Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились фронту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября, между тем как товарищи наши, поступившие в гражданскую службу, в июне же получили назначение; в том числе Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так расположили моей судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не

значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие.

Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мной мыслил о деле общем (res publica), посвоему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе.

Не было живого человека, который не знал бы его стихов.

Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта — вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь, — Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините!)

Странное смешение в этом великолепном создании!

Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «Здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса!*

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — *стрикс,* маленькая несносная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?»

---

* Стих Пушкина.

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочим, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле»,— шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу

m-me Staël «Considérations sur la Révolution flançaise» * и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него, — вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за сим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало; образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

— Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils**. Видно, вы не знаете последнюю его проказу.

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

---

* М-м Сталь. «Взгляд на французскую революцию».

** Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном перед целию самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно разный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В генваре 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных

и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое.)

Я тут ровно ничего не понимал; живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило.

В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там, после служебных формальностей, я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». (Пушкин понял, в чем дело.) Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleres-que»*,— и пожал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их к графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

* Ах, это по-рыцарски.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

«Энгельгардт, — сказал ему государь, — Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем; но это не исправляет дела».

Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его».

Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от Коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края. Проезжай Пушкин сутками позже, до поворота на Екатеринославль, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинев, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поруче-

ниям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента Московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение.

Князь Юсупов (во главе всех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я — надворный судья.

«Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное».

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве!

В 1824 году в Москве тотчас узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, нисколько не разрешая ее.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании,

во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в генваре буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». — «Не советовал бы, впрочем, делайте, как знаете», — прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я и от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь

с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.

Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с по-

логом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и проч. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова *из ревности;* думал даже,

что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии.

Мне показалось, что вообще он неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.

Среди разговора ex abrupto* он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание.

Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже везти меня к ним, но я от-

---

* Внезапно *(лат.)*.

говорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19-го октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое судейство:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада,
. . . .
. . . . .Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
. . . .
Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть.

Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи.

Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов.

Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, — начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за *нее*. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйскою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати.

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию,

ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит.

Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел faire bonne mine à mauvais jeu* и старался уверить его в противном: объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение. Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».

Время не стояло. К несчастию, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая,

* Делать хорошую мину при плохой игре.

что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы, — хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.

Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, — подумал я, — хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!» В зале был биллиард; это могло бы служить для него развлеченьем. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на биллиарде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить: на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякнул у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной...

Сцена переменилась.

Я осужден. 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился наконец с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Псков 13-го декабря 1826

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнанье. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось.

Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла наконец испол-

нить порученное поэтом. По приезде моем в Тобольск в 1839 году я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны; а в 1842-м брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ.

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года».

Бог помощь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помощь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли!

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастие.

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — *там*, на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы

на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою самих обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с Европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни *газетные* известия. Таким образом в генваре 1837 года возвратившийся из отпуска наш плац-адъютант Розенберг зашел в мой 14-й номер. Я искренно обрадовался и забросал его вопросами о родных и близких, которых ему случалось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он живет? и проч. Розенберг выслушал меня в раздумье и наконец сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой сообщилось в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере; но в итоге выходило одно, что его не стало и что не воротить его!

Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть перед его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня —

далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать, меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов.

Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?»

Вопрос дерзкий, но мне может быть простительный! Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта и пустая, и совершенно ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его все эти, по-видимому, ничтожные обстоятельства приняли, в глазах моих, вид явного действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь такого развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.

Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его музы; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были, сверх того, могущественнейшими

вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть через железные решетки, а о жизни людей разве только слышать.

Пушкин, при всей своей восприимчивости, никак не нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов:

Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он между прочим рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин, прося поблагодарить ее за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского!»

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через двадцать лет!

Им кончаю и рассказ мой.

Село Марьино, август 1858



ПИСЬМА

1. В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

Москва, 8 апреля 1824 г.

...Мой Надворный Суд пе так дурен: как я ожидал. Вот две педели, что я вступил в должность; трудов бездна, средств почти нет. На канцелярию и на жалование чиновников отпускается две тысячи с небольшим. Ты можешь поэтому судить: что за народ служит, — и, следовательно, надо благодарить судьбу, если они что-нибудь делают. Я им толкую о святости нашей обязанности и стараюсь собственным примером возбудить в них охоту и усердие...

2. А. С. ПУШКИНУ

Москва; 1825 г., февраль 18.

Опять я в Москве, любезнейший Пушкин, действую снова в суде. — Деньги твои возвращаю: Вяземская их не берет, я у себя оставить не могу; она говорит, что получит их от одесского приятеля, я говорю, что они мне не следуют. Прими их обратно, — я никак благоразумнее не умею поступить с ними.

Живи счастливо, любезнейший Поэт! Пиши мне послание и уведоми о получении суммы.

Кюхельбекера здесь нет. Он в деревне у матери и, вероятно, будет у тебя.

Много знакомых твоих и любопытных о тебе расспрашивают. Я, по возможности, удовлетворяю их любопытству. Между прочим, И. И. Дмитриев меня забросал вопросами за обедом у Вяземского.

Прощай, будь здоров. Кланяйся няне.

Твой Иван Пущин.

На днях тебе пришлю Рылеева произведения, которые должны появиться: Войнаровский и Думы.

Мой адрес: у Спаса на Песках, близ Арбата, в доме графини Толстой.

3. А. С. ПУШКИНУ

12 марта [*1825 г.*], *Москва.*

Здравствуй, любезнейший Пушкин.

До сих пор жду от тебя ответа и не могу дождаться. Хоть прозой уведомить меня надобно, получил ли ты посланные мною деньги.

Между тем я к тебе с новым гостинцем. Рылеев поручил мне доставить труды его — с покорностию отправляю.

Вяземский был очень болен. Теперь, однако, вышел из опасности: я вижу его довольно часто — и всегда непременно об тебе говорим. Княгиня — большой твой друг.

Хлопотавши здесь по несносному изданию с Селивановским, я, между прочим, узнал его желание сделать второе издание твоих трех поэм, за которые он готов дать тебе 12 тысяч. Подумай и употреби меня, если надобно, посредником между вами. — Впрочем, советовал бы также поговорить об этом с петербургскими книгопродавцами, где гораздо лучше издаются книги.

Все тебе желают мильон хорошего. Мы ждем Ломоносова на днях из Парижа.

Твой Иван Пущин.

Марта 12. Знаменательный день.

4. А. С. ПУШКИНУ

2 апреля 1825 г., Москва.

Наконец, получил послание твое в прозе, любезный Пушкин! Спасибо и за то. За проклятую délicatesse[1] я с княгиней бранился; она велела сказать тебе, что ты хорошо сделаешь, когда при деньгах пришлешь ей долг, что она отнюдь не хочет тебе его простить. Только жела-

[1] Деликатные отношения *(франц.)*.

ет, чтоб ты тогда ей заплатил, когда сам будешь иметь довольное количество монеты.

Вяземский совсем поправился, начал выезжать. Все тузы московские тебе кланяются и с большим удовольствием читают Онегина.

Мы ждем сюда дипломата Ломоносова, который уже в Петербурге. Будь здоров.

Твой Иван Пущин.

Москва, 2 апреля.

[На обороте] Ее высокоблагородию Прасковье Александровне Осиповой. В Опочке. Для доставления в село Троегорское. А вас покорно прошу отослать А. С. Пушкину.

5. С. М. СЕМЕНОВУ

Петербург, 12 декабря 1825 г.

Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Покажите сие письмо Михаилу Орлову. Прощай, вздохни об нас, если... Успех в руках бога!!

6. РОДИТЕЛЯМ И СЕСТРАМ

[*В пути*] *17—31 октября* [*1827 г.*].

Здравствуйте, милые мои, я опять, благодаря бога, нашел возможность писать к вам. Может, утешат вас минуты, которые с добрым моим товарищем путешествия... с тем, который должен будет вам доставить эту тетрадку. — О чем? И как спросить?

С каким восхищением я пустился в дорогу, которая, удаляя от вас, сближает. Мои товарищи Поджио и Муха-

нов. Мы выехали 12 октября, и этот день для меня была еще другая радость — я узнал от фельдъегеря, что Михайло произведен в офицеры.

Я не буду делать никаких вопросов, ибо надеюсь на милость божию, что вы все живы и здоровы, — страшно после столь долгой разлуки спросить. Я молился о вас, и это меня утешало.

Начнем с последнего нашего свидания, которое вечно будет в памяти моей. Вы увидите из нескольких слов, сколько можно быть счастливым и в самом горе. Ах, сколько я вам благодарен, что Annette, что все малютки со мной. Они меня тешили в моей золотой тюрьме, ибо новый комендант на чудо отделал наши казематы. Однако я благодарю бога, что из них выбрался, хотя с цепями должен парадировать по всей России.

Будущее не в нашей воле, и я надеюсь, что как бы ни было со мной — будет лучше крепости...

7. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Иркутск, 14 декабря 1827 г.

Вот два года, любезнейший и почтенный друг Егор Антонович, что я в последний раз видел вас, и — увы! — может быть, в последний раз имею случай сказать вам несколько строк из здешнего тюремного замка, где мы уже более двадцати дней существуем. Трудно и почти невозможно (по крайней мере я не берусь) дать вам отчет на сем листке во всем том, что происходило со мной со времени нашей разлуки — о 14-м числе надобно бы много говорить, но теперь не место, не время, и потому я хочу только, чтобы дошел до вас листок, который, верно, вы увидите с удовольствием; он скажет вам, как я признателен вам за участие, которое вы оказывали бедным сестрам моим после моего несчастия, — всякая весть о посещениях ваших к ним была мне в заключении истинным утешением

и новым доказательством дружбы вашей, в которой я, впрочем, столько уже уверен, сколько в собственной нескончаемой привязанности моей к вам. — Эти слова между нами не должны казаться сильными и увеличенными — мы не на них основали нашу связь, потому я смело их пишу, зная, что никакая земная причина не нарушит ее; истинно благодарен вам за утешительные строки, которые я от вас имел, и душевно жалею, что не удалось мне после приговора обнять вас и верных друзей моих, которых прошу вас обнять; называть их не нужно — вы их знаете; надеюсь, что расстояние в тысячи верст не разлучит сердец наших.

Я часто вспоминаю слова ваши, что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Благодаря бога я во всех положениях довольно спокоен и очень здоров — что бог даст вперед при новом нашем образе жизни в Читинской, что до сих пор от нас под большим секретом, — и потому я заключаю, что должно быть одно из двух: или очень хорошо, или очень дурно.

Тяжело мне быть без известий о семье и о вас всех, — одно сердце может понять, чего ему это стоит; там я найду людей, с которыми я также душою связан, — буду искать рассеяния в физических занятиях, если в них будет какая-нибудь цель; кроме этого, буду читать сколько возможно в комнате, где живут, как говорят, тридцать человек...

8. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Чита, 14 марта 1830 г.

...Об себе я ничего особенного не имею вам сказать, могу только смело вас уверить, что, каково бы ни было мое положение, я буду уметь его твердо переносить и всегда найду в себе такие утешения, которых никакая человеческая сила не в состоянии меня лишить. Я много уже

перенес и еще больше предстоит в будущем, если богу угодно будет продлить *надрезанную* мою жизнь; но все это я ожидаю как должно человеку, понимающему причину вещей и непременную их связь с тем, что рано или поздно должно восторжествовать, несмотря на усилие людей — глухих к наставлениям века. Желал бы только, чтоб все, принимающие в судьбе моей участие, не слишком горевали обо мне; их спокойствие меня бы еще более подкрепило.

Не откажите мне, почтенный друг, в возможности чем-нибудь отсюда вам быть полезным в расстроенных ваших обстоятельствах; зная ваши правила, я понимаю, как вам тягостно не предвидеть близкого окончания ваших дел. Пришлите мне какое-нибудь сочинение на французском языке, с которого перевод мог бы быть напечатан на русском и с выгодою продан, — я найду средства скоро и по возможности хорошо его перевести и способ его к вам доставить. Вы этим доставите величайшее утешение. У нас здесь много книг прекрасных, но я не знаю, что может лучше разойтись. Vous êtes sur le lilux. Vous devez le savoir bien mieux que moi[1].

Может быть, это мечта, но мечта для меня утешительная, сладостная. Объяснений между нами не нужно: я пойму, если вы пришлете мне какую-нибудь книгу и скажете в письме, что она вам нравится, — тогда я прямо за перо с некоторыми добрыми друзьями, и спечем вам пирог. Но — увы! — когда еще этот листок до вас долетит и когда получу ответ? Мильон верст!

Человек — странное существо; мне бы хотелось еще от вас получить, или, лучше сказать, получать, письма, — это первое совершенно меня опять взволновало. Скажите что-нибудь о наших чугунниках, об иных я кой-что знаю из газет и по письмам сестер, но этого для меня как-то ма-

[1] Вы на месте. Вы должны это знать лучше, чем я *(франц.)*.

ло. Вообразите, что от Мясоедова получил год тому назад письмо, — признаюсь, никогда не ожидал, но тем не менее был очень рад.

Шепните мой дружеский поклон тем, кто не боится услышать голоса знакомого из-за Байкала. Надеюсь, что есть еще близкие сердца. Но, бога ради, чтоб никто не знал из неосторожных, что я кой-как к вам постучался в дверь — и на минуту перенесся в круг доброй семьи, которую вечно буду любить...

9. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Петровское, 4 декабря 1837 г.

...Сегодня я без пощады заставлю вас мною заниматься. Кончив разговор дельный, хочется немного поболтать с вами о старине нашей. Как водится, 19 октября я был с вами, только еще не знаю, где и кто из наших вас окружал. Тут у меня обыкновенно рассказы, которые и здесь между товарищами находят сочувствие. Вероятно, от вас услышу подробности этого дня. Хотелось бы подать голос бедному Вильгельму, он после десятилетнего одиночного заключения поселен в Баргузине и там женился; вы об нем можете узнать от его сестры. Верно, мысли наши встретились на разных точках Сибири; некоторые воспоминания не стареют, а укрепляются временем. — Лицей в том числе для меня...

Только хочу благодарить вас за памятные листки о последних минутах поэта-товарища, как узнаю из газет, что нашего Илличевского не стало. Еще крест в наших рядах, еще преждевременная могила! Вы скажите, что и как? О Пушкине давно я глубоко погрустил; в «Современнике» прочел письмо Жуковского; это не помешало мне и теперь не раз вздохнуть о нем, читая Спасского и Даля. Мы здесь очень скоро узнали о смерти Пушкина, и в Сибири даже, кого могла она поразить, как потеря общественная...

10. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[Петровский завод], 20 июня 1838 г.

В день воспоминаний лицейских я получил письмо твое от 8 апреля, любезный друг Малиновский; ты, верно, не забыл 9 июня и, глядя на чугунное кольцо, которому минуло 21 год, мысленно соединился со всеми товарищами, друзьями нашей юности. Теперь мы можем с полным убеждением повторить слова Дельвига, который тогда нам провещал: «Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас». Уверенность в дружбе неизменной смягчает горечь непреложного исполнения этого пророчества. Мы розно и между тем вместе: взаимность чувств не знает разлуки. Побеседовал я мысленно с прежними однокашниками, почтил благодарностью тех, которые попечениями услаждали первые годы нашей жизни, и в душе пожелал вам и им всем радостных ощущений. С грустью посетил места, где покоится прах людей, нам близких и невозвратимых.

Ты меня извинишь, любезный друг, что я, может быть, невольным образом передаю тебе мрачность моих мыслей. Самые приятные впечатления в воспоминании имеют этот отпечаток. И кто ж меня поймет, если не ты, добрый Иван? Прошу тебя на досуге поговорить мне побольше и поподробнее о наших чугунниках. Некоторые из них для меня совершенно исчезли, а все хочется знать. Года два тому назад почтенный Егор Антонович писал мне обо всех по *алфавитному* списку, с тех пор уже много перемен. Изредка утешает меня старый наш директор необыкновенно милыми письмами. От искреннего сердца ему спасибо. Хлопоты домашние и занятия не мешают ему радовать меня; надобно быть здесь, чтобы вполне оценить дружеское внимание, за которое истинно не умею быть довольно благодарным...

11. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Евгению Петровичу Оболенскому
Иркутск, 16 августа 1839 г.

...Начнем сначала: приехал я с Поджио и Спиридовым на одной лодке с Комендантом, Плац-маером и Барановым в г. Иркутск 9-го числа. Мы первые вошли в Столицу Сибири, ужасно грязную по случаю ежедневных дождей. Слава богу, что избегли этого горя на море, где мы бичевой шли пять суток. Скучно было, но ничего неприятного не случилось.

Поместили нас в общественном доме. В тот же вечер явились К. Карл. с Нонушкой и Мария Николаевна с Мишей. Объятия и пр., как ты можешь себе представить. Радостно было мне найти прежнее неизменное чувство доброй моей кумушки. Миша вырос и узнал меня совершенно — мальчишка хоть куда: смел, говорлив, весел.

На другой день вечером я отправился в Урик. Провел там в беспрестанной болтовне два дня, и теперь я в городе. Насчет *Гымыля* моего все усердно расхлопотались, и я уже был переведен в деревню Грановщину близ Урика, как в воскресенье с почтою пришло разрешение о *Туринске*.

Все наши по просьбам родных помещены, куда там просили, кроме Трубецких, Юшневских и Артамона. Они остались на местах известного тебе первого расписания. Не понимаю, что это значит, вероятно, с почтою будет разрешение. Если Барятинского можно было поместить в Тобольск, почему же не быть там Трубецким?! В Красноярск Давыдов и Спиридов: следовательно, нет затруднения насчет губернских городов.

Вообще все здесь хорошо приняты от властей — учтиво и снисходительно: мы их не видим, и никакого надзора за нами нет. Я встретил Пятницкого у Кар. Карловны и доволен его обращением...

12. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Туринск, 18 октября 1839 г.

Вчера в полночь я прибыл в Туринск. Сегодня же хочу начать беседу мою, друг Оболенский. Много впечатлений перебывало в знакомом тебе сердце с тех пор, как мы с тобою обнялись на разлуку в Верхнеудинске. Удаляясь от тебя, я более и более чувствовал всю тяжесть этой скорбной минуты. Ты мне поверишь, любезный друг, испытывая в себе мое чувство.

Из Иркутска я к тебе писал; ты верно, давно получил этот листок, в котором сколько-нибудь узнал меня. Простившись там с добрыми нашими товарищами-друзьями, я отправился 5 сентября утром в дальний мой путь...

...Трудно высказать тебе состояние теперешнее моей души: многого мне недостает и все еще как-то не клеится. Ты знаешь, как я попал в Туринск? Annette пазначила два места: этот город и Ялуторовск. Жребий пал на Туринск, и она говорит, что могу перепроситься, если мне не нравится назначение. Ты можешь себе представить, что я покамест и не думаю искать перемены, как прежде не искал быть здесь. Все держусь старого моего правила: как можно меньше просить о чем-нибудь кого-нибудь. Одно, что попросил бы, это чтобы быть с тобой, — но и это не от меня зависит. Обнимаю тебя крепко. Не забывай.

И. Пущин.

13. И. В. МАЛИНОВСКОМУ и В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

Туринск, 27 октября 1839 г.

Сюда я приехал десять дней тому назад; все это время прошло в скучных заботах о квартире и т. п. От хлопот этих отдыхаю в кругу здешних моих товарищей: их трое — Ивашев, Анненков и Басаргин; двое первых давно женаты, а третий незадолго до моего приезда здесь женился.

Я очень рад, что, расставшись недавно с большой моей сибирской семьей, нашел в уединении своем кого-нибудь из наших. В них для меня заключается все общество: можно разменяться мыслью и чувством. Верите ли, что расставания с друзьями, более или менее близкими, до сих пор наполняют мое сердце и как-то делают не способным настоящим образом заняться.

Новый городок мой не представляет ничего особенно занимательного: я думал найти более удобств жизни, нежели на самом деле оказалось. До сих пор еще не основался на зиму — хожу, смотрю, и везде не то, чего бы хотелось без больших прихотей: от них я давно отвык, и, верно, не теперь начинать к ним привыкать. Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плоские места, которые наводят тоску после разнообразных картин Восточной Сибири, где реки и горы величественны в полном смысле слова. Эта разница поражает, когда постепенно от востока к западу приближаешься. Мое путешествие было осеннее, но я испытал и тут всю силу впечатления. Земля у нас уже покрыта снегом...

Благодарю тебя, любезный друг Иван, за добрые твои желания — будь уверен, что всегда буду уметь из всякого положения извлекать возможность сколько-нибудь быть полезным. Ты воображаешь меня хозяином — напрасно. На это нет призвания, разве со временем разовьется способность; и к этому нужны способы, которых не предвидится. Как бы только прожить с маленьким огородом, а о пашне нечего и думать.

Главное — не надо утрачивать поэзию жизни: она меня до сих пор поддерживала, — горе тому из нас, который лишится этого утешения в исключительном нашем положении...

14. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[Туринск], 14 июня 1840 г.

...Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России, хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадываешься, про что я хочу сказать; он минутно забывал свое назначение и все это после нашей разлуки...

15. И. Д. ЯКУШКИНУ

11 июля 1840 г., [Туринск].

...Пользуюсь случаем послать вам записки Andryane и «Историю революции». Тьера, хотя вы не отвечали мне, хотите ли их иметь... Тьер запрещен русской цензурой и здесь тайно: он уже был и в Омске, и в Тобольске, и в Кургане у Свистунова...

16. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

19 июля 1840 г., Туринск.

На прошедшей неделе не удалось мне, почтенный и добрый друг мой Егор Антонович, поблагодарить вас за ваше мартовское письмо, которое долго странствовало; через Иркутск, наконец, оно дошло до меня, и я насладился вашею беседою; рано или поздно она всегда для меня истинное утешение. Спасибо вам за дружеские ваши советы — исполнением постараюсь доказать, что я умею ценить ваше доброе ко мне участие. Мне очень жаль, что не прежде получил ваши листки, — теперь я отправлюсь в Тобольск, куда просился съездить для советов с медиком, и вряд ли буду иметь возможность исполнить ваше желание насчет описания Туринска. Не обещаю; но если из собранных

некоторых сведений и из того, что Басаргин мне обещает туда переслать, выйдет нечто путное и достойное вашего внимания, то непременно доставлю вам все ценное, и вы тогда увидите, годно ли оно для вашей газеты.

Я не писатель и очень строг в этом отношении, особенно к самому себе. Надобно говорить дельно или ничего не говорить — и самый предмет должен быть некоторой особенной занимательности. Не совсем уверен, чтобы Туринск этим отличался: в свое время вы сами будете об этом судить.

Пожалуйста, присылайте мне что-нибудь дельное, любопытное для перевода; с уверенностью, что этот труд может быть полезен, я охотно примусь за него. Желал бы очень чем-нибудь содействовать лицейскому вашему предприятию — денежных способов не имею, работать рад, если есть цель эту работу упрочить, без этой мысли нейдет на лад...

17. И. Д. ЯКУШКИНУ

[Тобольск], 20 ноября [1842 г.].

...На этих днях я получил Тьера. Очень рад, что его держали...

Вы спрашиваете о моем переводе... Ровно ничего не знаю...

...Между тем, если в декабре не получу разрешения, думаю сняться с якоря и опять отправиться в Туринск. В таком случае непременно заеду к вам в Ялуторовск...

В доказательство, что наши письма не без внимания остаются в III отделении, скажу вам, что недавно сестра Annette получила мой листок с несколькими зачеркнутыми строками. Видно, этим господам нечего там делать...

Недавно я здесь казначействовал в виде казначея Малой артели. Распределились деньгами, вырученными за вещи покойного Краснокутского, который предоставил их

в пользу нуждающихся товарищей. Разослали 2400 р. Это не лишнее для тех, которые не ожидали такого пособия. В распределении соображались с прежними выдачами из Артели...

18. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Ялуторовск, 26 февраля [—12 июля] 1845 г.

8 мая.

4-го минуло вашему Jeannot 47 лет, а сегодня он справляет свои именины. Гости будут самые близкие люди; но давно ему не удается собрать тех, кого бы хотелось зазвать и без больших затей угостить в своем углу. Бывало, в Лицее в этот день в столовой вместо казенного чая стоят чашки, наполненные кофеем со стопкой сухарей, и вся артель пьет с поздравлением приготовление Левонтия Кемерского. С тех пор много воды утекло, пришлось и в Сибири кормить мороженым. Спасибо добрым товарищам, жертвуют для именинника целым днем; а эти дни как-то тяжеле других: сильнее ощущаешь желание быть в прежнем кругу. Но этот круг теперь во многом изменился; может быть, иного из старых знакомых встретишь и во многом не узнаешь. Время кладет неумолимую свою печать. В последний раз: в 1825 году, я в Москве справлял майские свои дни; тут были кой-кто из лицейских и вся magistrature renforceé[1], как называл князь Голицын, генерал-губернатор московский. Сегодня просто хотелось напомнить вам вашего молодого питомца, который в Зауральском краю уже двадцатый раз именинник. Следовало бы за это долготерпение дать пряжку хоть с правом носить ее в кармане.

Вместо этого объявлено нам на днях постановление комитета гг. министров, высочайше утвержденное в феврале, которым разрешено нам отлучаться с билетами из

[1] Крепнущее судейство *(франц.)*.

мест водворения по уважительным причинам: живущим в городах на 30 верст, а живущим в деревнях на 50 верст, и то на три дня. Совершенно неожиданная милость, поражающая своею оригинальностью. Любопытно бы было знать, кому эта мысль пришла? Я понимаю, что можно сказать: поезжайте по уезду, или по губернии, или, наконец, по всей Сибири; а эти расстояния совершенно в духе гомеопатов. Гораздо простее ничего не делать, тем более что никто из нас не вправе этого требовать, состоя на особенном положении, как гвардия между ссыльными, которые между тем могут свободно переезжать по краю после известного числа лет пребывания здесь и даже с самого привода получают билет на проживание там, где могут найти себе источник пропитания, с некоторым только ограничением, пока не убедится общество в их поведении. Все эти постановления напечатаны; повторять их нечего. Любопытно только то, что с нами возятся, как курица с яйцом. Давно бы мы здесь построили город и вспахали землю, если бы с самого начала нас поселили в одном месте и дали возможность обзаводиться. И то женатые и в Чите и в Петровском заводе настроили дома, которые пришлось бросить за бесценок, да и по городам многие покупали и строили и потом бросали. Все это вместе в продолжение стольких лет было бы полезно краю и на будущее время. Кажется, нечего опасаться, чтобы мы здесь делали пропаганду. Все, что остается,— это какая-то монументальная жизнь; приходят, спрашивают и рассматривают, как предание еще живое чего-то понятного для немногих. Видят, что люди не злые, ни в каких качествах не замечены и в полиции не бывают.

Любопытны аттестации, которые делают об нас ежемесячно городничий и волостные головы. Тут вы видите невежество аттестующих и, смею сказать, глупость требующих от этих людей их мнения о том, чего они не понимают и не могут понять. Пишут обыкновенно: «Занимается

книгами или домашностью, поведение скромное, образ мыслей кроткий». Скажите, есть ли какая-нибудь возможность положиться на наблюдателей, которые ничего не могут наблюсти? Масса принимает за лекарей всех нас и скорее к нам прибегает, нежели к штатному доктору, который всегда или большею частью пьян и даром не хочет пошевелиться. Иногда одной магнезией вылечишь, и репутация сделана, так что потом насилу можешь отговориться, когда является что-нибудь серьезное, где надобно действовать с знанием дела или по крайней мере ученым образом портить и морить.

Заболтался. Оболенский напоминает, что имениннику пора похлопотать о предстоящих посетителях. В эти торжественные дни у нас обыкновенно отворяется одна дверь, которая заставлена ширмой, и романтический наш порядок в доме принимает вид классический. Пора совершить это превращение. Прощайте.

9 июня.

Сегодня проснулся в лицейском зале. Поистерся немного чугун на моем кольце, но воспоминание свежо. Мысленно мы, верно, с вами встретились; верно, вы взглянули на ваш первокурсный список и помянули живых, мертвых и полуживых и полумертвых. Нелегко мыслью пройти расстояние от 1817 до 1845. Я знаю только, что из всех этих годов 8 для меня прошли в свете, остальные имеют свои эпохи и впечатления. Много бы надобно говорить, чтобы все это передать в порядке. Недостанет у вас терпения читать; слушать, может быть, согласились бы, потому что можете, когда захотите, велеть замолчать. Как нарочно, случился сегодня почтовый день; надобно присесть к маленьким листикам — будет всего три: один на запад, другие два на восток — в Иркутск; около него также рассеяна большая колония наших.

19. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

[Ялуторовск], апреля 24, 1848 г.

...В Европе необыкновенные события. Они повременно доходят и до тебя. Ты можешь себе представить, с какою жадностью мы следим за их ходом, опережающим все соображения. Необыкновенно любопытное настает время.

И. Пущин.

20. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[Ялуторовск], 1 мая 1848 г.

...Читаем, толкуем, размышляем, спорим, мечтаем — вот единственное участие, которое мы можем принять в общем движении. Много хотелось бы с вами поговорить, но это трудно на этом листке уладить.

...Все прочее старое по-старому — в доказательство этой истины мне 4-го числа минет 50 лет. Прошу не шутить. Это дело не шуточное. Доживаю, однако, до замечательного времени. Правда, никакой политик не предугадает, что из всего этого будет, но нельзя не сознаться, что быстрота событий изумительная... Я как будто предчувствовал, выписал «Journal des Débats»[1] вместо всех русских литературных изданий...

21. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[Ялуторовск, середина февраля] 1849 г.

...Познакомьтесь с Корсаковым, который был у нас на прошлой неделе. Мне понравился этот юноша, он родился в том году, в котором мы были в Петербургской крепости. Для него мы — предание, но он как-то нас понимает. Мне приятно было в нем ощущать теплое сердце и какую-то го-

[1] Французская политическая газета.

товность на деятельную жизнь — ее не всегда встретишь в представителях нового поколения, которые мне попадают под руку. Впрочем, мудрено настоящим образом судить по нескольким часам свидания, но все-таки приятно видеть что-то живое, мыслящее и надеющееся. Я замечтался, извините — такова моя привычка — молодость меня молодит...

22. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

25 генваря [1]852 г., [Ялуторовск].

Давно я прочел твой листок, добрый друг Матюшкин, давно поблагодарил тебя за него, но еще не откликнулся тебе, — тебе, впрочем, давно сказали добрые мои сестры, что я в марте месяце порадован был твоим письменным воспоминанием. С тех пор много времени прошло, но мы такими сроками отсчитываем время, что эта отсрочка нипочем, особенно когда независимо от годов верна лицейская дружба. С этой уверенностью можно иногда и молча понимать друг друга.

Между тем позволь тебе заметить, хотя и немного поздно, что в твоем письме проглядывает что-то похожее на хандру: а я воображаю тебя тем же веселым Федернелке, каким оставил тебя в Москве,— помнишь, как тогда Кюхельбекер Вильгельм танцевал мазурку и как мы любовались его восторженными движениями. Вот куда меня бросило воспоминание.

Веришь ли, что, бывало, в Алексеевском равелине, — несмотря на допросы, очные ставки и все прибаутки не совсем забавного положения, я до того забывался, что, ходя диагонально по своему пятому Nомеру, несознательно подходил к двери и хотел идти за мыслию, которая забывала о замке и страже. Странно тебе покажется, что потом в Шлиссельбурге (самой ужасной тюрьме) я имел счастливейшие минуты. Как это делается, не знаю. Знаю

только, что эта сила и поддерживала меня и теперь поддерживает. Часто говорю себе: «чем хуже — тем лучше». Не всеми эта философия признается удобною, но, видно, она мне посылается свыше. Хвала богу!

Если это начало так было мне облегчено, если два года одиночного заключения так благоразумно были мною приняты, то ты можешь себе представить, как я был счастлив, когда в одно прекрасное утро в Шлиссельбурге раньше обыкновенного приносят мне умывальник и вслед за тем чемодан. Вывели на гауптвахту, где я увидел двух товарищей. Мы до того обрадовались друг другу, что, когда надевали нам цепи, мне казалось, что это самый удобный паряд, хоть они были 10 ф. весу и длиною только в пол-аршина. Трудно было попасть в телегу, которая ожидала на берегу Невы. Помчались по замерзлой осенней дороге — тряско, но приятно было дышать свежим воздухом и двигаться после долгой тюрьмы. Где же тебе рассказать все мелочи путешествия? Это было бы похоже на рассказ Шехеразады.

Примчались мы трое в Тобольск с фельдъегерем — именно примчались; я не раз говорил ему, что, ехавши в каторжную работу, кажется, незачем так торопиться, но он по своим расчетам бил ямщиков и доказывал свое усердие к службе.

Из Тобольска потише поехали до Читы. Там нашли всех в сборе. Погостили в Чите до августа 830 года. В августе отправились двумя колоннами Братской степью, где выставились нам юрты, в Петровский завод.

В Петровском заводе уже обзавели нас каждого своей комнатой, и потому мы там подольше зажились: наша последняя категория в 839 году оставила это спокойное помещение, где для развлечения мы мололи муку.

Потом я перебрался в Туринск, там четыре года свободной сибирской жизни с правом никуда не выезжать.

Из Туринска я переехал с Оболенским сюда, и здесь вот уже скоро 10 лет продолжается моя резиденция.

Пора бы за долговременное терпение дать право гражданства в Сибири, но, видно, еще не пришел назначенный срок. Между тем уже с лишком половины наших нет на этом свете. Очень немногие в России — наша категория еще не тронута. Кто больше поживет, тот, может быть, еще обнимет родных и друзей зауральских. Это одно мое желание, но я это с покорностию предаю на волю божию.

Судьба меня баловала и балует. Родные, которых ты теперь за меня оберегаешь, в продолжение $^1/_4$ века заставляют меня забывать, что я не с ними: постоянные попечения. Я иногда просто таю в признательном чувстве. Вы, добрые люди, тоже в нем не забыты — Борис уже не раз слышал, сколько я ему благодарен.

Здесь, кажется, любят меня больше, нежели я их люблю. Не забудь, что мы тринадцать лет были на корабле, где от столкновения и у вас бывают нелады. Следовательно, и немудрено, что иногда были между нами недоразумения, особенно вначале, при бездействии, с полной силой. Благодаря богу я вышел не разочарованный из этого испытания. Не знаю, поймешь ли ты меня настоящим образом. Пишу, что на ум взбредет. И где написать все, что хотелось бы сказать, если бы пришлось быть вместе...

...Ты напрасно говоришь, что я 25 лет ничего об тебе не слыхал. Наш директор писал мне о всех лицейских. Он постоянно говорил, что особенного происходило в нашем первом выпуске, — об иных я и в газетах читал...

...Какой же итог всего этого болтания? Я думаю одно, что я очень рад перебросить тебе словечко, — а твое дело отыскивать меня в этой галиматье. Я совершенно тот же бестолковый, неисправимый человек, с тою только разницею, что на плечах десятка два с лишком лет больше...

23. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

24 февраля [1]853 г., [Ялуторовск].

...Когда будешь ко мне писать, перебери весь наш выпуск по алфавитному списку. Я о некоторых ничего не знаю.

Где Броглио, где Тырков?

Помогли Тыркову чёрты:
Он везде нуль и четвертый!

Мне бы хотелось иметь в резких чертах полные сведения о всех. Многих уже не досчитываемся.

Пушкина последнее воспоминание ко мне 13 декабря 826-го года: «Мой первый друг и пр.» — я получил от брата Михайлы в 843-м году собственной руки Пушкина. Эта ветхая рукопись хранится у меня как святыня. Покойница А. Г. Муравьева привезла мне в том же году список с этих стихов, но мне хотелось иметь подлинник, и очень рад, что отыскал его.

Когда-нибудь надобно тебе прислать послание к нам всем:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье, и пр.

На это послание есть ответ Одоевского нашего, который тоже давно не существует — умер на Кавказе. Может быть, все это тебе известно...

24. И. А. АННЕНКОВУ

[Под Петербургом], 10 генваря [1]857 г.

Со взморья, с дачи брата Николая, пишу вам, любезный друг Иван Александрович. Приветствую вас, добрую Прасковью Егоровну, милую Наташу, Володю и Николая с наступившим новым годом. Всем вам от души желаю всего лучшего!..

...Я вполне возвратом на родину насладился, одна только нога до сих пор мешает мне действовать. Это время еще не удалось заняться починкой ноги. Все надобно кого-нибудь из родных и друзей видеть. С самого Нижнего все отрадные встречи. Когда-нибудь, бог даст, увидимся — потолкуем. Так время наполнено, что нет возможности заняться перепиской...

25. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[Петербург], 11 марта [1857 г.].

Нетвердой рукой, потихоньку, наконец, скажу, добрый друг мой, что я оправился от трудной болезни, которая решительно не давала мне возможности подать голоса. Скажу также, что выздоровление медленно... Настрадался я досыта... Сбывается пословица, что болезнь приходит пудами, а выходит золотниками. Но вообще гораздо лучше...

До свидания, до свидания, до свидания!

Верный твой И. П.

26. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[Марьино], 25 февраля [1858 г.], вторник.

...Сейчас писал к шаферу нашему в ответ на его лаконическое письмо. Задал ему и сожителю мильон лицейских вопросов. Эти дни я все и думаю и пишу о Пушкине. Пришлось, наконец, кончить эту статью с фотографом. Я просил адмирала с тобой прислать мне просимые сведения. Не давай ему лениться — он таки ленив немножко, нечего сказать...

27. Н. Д. ПУЩИНОЙ

Марьино, 1 марта 1858 г., суббота.

...Я теперь все с карандашом — пишу воспоминания о Пушкине. Тут примешалось многое другое и, кажется, вздору много. Тебе придется все это критиковать и оживить. Мне как кажется вяло и глупо. Не умею быть автором. J'ai l'air d'une femme en conche[1]. Все как бы скорей услышать крик ребенка, покрестить его, а с этой системой вряд ли творятся произведения для потомства!..

28. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[Марьино,] 3 марта [1858 г.], понедельник.

...Еще хотел тогда просить тебя, чтоб ты отобрала от шафера (Ф. Ф. Матюшкин) сведения (в дополнение к тем, которые от него требую): не помнит ли он, или Яковлев, когда Пушкин написал известные стихи в альбом Елизаветы Алексеевны. Мне кажется, что она ему еще в Лицее прислала после этого в подарок часы, а Анненков относит в своем издании эту пиесу к позднейшему времени. Вот тебе совершенно неожиданное поручение. Не смейся, пожалуйста, надо мной! Позволяю только моргнуть на меня, когда будешь об этом толковать с Матюшкиным, который, верно, почитает меня за сумасшедшего...

29. Е. И. ЯКУШКИНУ

Марьино, 15 августа [1858 г.].

Вот вам, любезный мой банкир, и фотограф, и литограф, и пр. и пр., окончательные листы моей рукописи. Прошу вас, добрый Евгений Иванович, переплесть ее в том виде, как она к вам явилась, — в воспоминание обо мне!

[1] Я похож на женщину, собирающуюся родить *(франц.)*.

Печататься не хочу в искаженном виде и потому не даю вам на это согласия. Кроме ваших самых близких, я желал бы, чтоб рукопись мою прочел П. В. Анненков. Я ему говорил кой о чем, тут сказанном. Вообще прошу вас не производить меня в литераторы.

Или сами (или кто-нибудь четко пишущий) перепишите мне с пробелами один экземпляр для могущих быть дополнений, только, пожалуйста, без ошибок. Мне уже наскучила корректура над собственноручным своим изданием. Когда буду в Москве, на первом листе напишу несколько строк; велите переплетчику в начале вашей книги прибавить лист...

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. И. ПУЩИНЕ

Н. В. БАСАРГИН

...Ялуторовский товарищ мой Пущин, умерший в России в 1859 г., был общим нашим любимцем, и не только нас, то есть своих друзей и приятелей, но и всех тех, кто знал его хотя сколько-нибудь. Мало найдется людей, которые бы имели столько говорящего в их пользу, как Пущин. Его открытый характер, его готовность оказать услугу и быть полезным, его прямодушие, честность, в высшей степени бескорыстие высоко ставили его в нравственном отношении, а красивая наружность, особенный приятный способ объясняться, умение кстати безвредно пошутить и хорошее образование увлекательно действовали на всех, кто был знаком с ним и кому случалось беседовать с ним в тесном дружеском кругу.

Происходя из аристократической фамилии (отец его был адмирал) и выйдя из Лицея в гвардейскую артиллерию, где ему представлялась блестящая карьера, он оставил эту службу и перешел в статскую, заняв место Надворного Судьи в Москве. Помню и теперь, как всех удивил тогда его переход и как осуждали его, потому что в то время статская служба и особенно в низших инстанциях считалась чем-то унизительным для знатных и богатых баричей. Его же именно и была цель показать собою пример, что служить хорошо и честно своему отечеству все равно где бы то ни было, и тем, так сказать, возвысить уездные незначительные должности, от которых всего более зависит участь низших классов. Надобно сказать, что тогда он уже принадлежал к обществу и, следовательно, полагал, что этим он исполняет обязанность свою как полезного члена в видах его цели.

В Чите и Петровском, находясь вместе со всеми нами, он только и хлопотал о том, чтобы никто из его товарищей не нуждался. Присылаемые родными деньги клал почти

все в общую артель и жил сам очень скромно, никогда почти не был без долгов, которые при первой высылке денег спешил уплатить, оставаясь иногда без копейки и нуждаясь часто в необходимом. Это бескорыстие, или, лучше сказать, бессеребренность, доходила до крайних пределов и нередко ставила его самого в затруднительное и неловкое положение; но он всегда умел изворачиваться без вреда своей репутации и не нарушая правил строгой честности...

М. С. ЗНАМЕНСКИЙ

...В передней стоял крестьянин, пришедший с просьбицей насчет своего делишка. И начал повествовать о своих горьких похождениях по судебным мытарствам. Из-за каждой фразы монотонного и нескладного рассказа так и выглядывали признаки: неуважения к личности, кулачной расправы, взяток, незаконности, словом, всех атрибутов тогдашней земской власти.

— Что же я-то могу сделать? — спросил Пущин.

— Да я уж не знаю, сделай что можешь, сделай божескую милость, а идти более не к кому, — безнадежно произнес мужик.

Сделав ему несколько вопросов и дав слово похлопотать за него где можно, Пущин возвратился к компании, сидевшей молча под тяжелым впечатлением крестьянского рассказа.

Хозяин, разрядившись двумя-тремя пропавшими даром каламбурами, закурил трубку, сел к письменному столу и принялся за письмо.

Всем сделалось легче, потому что все знали, что в письме излагается дело только что ушедшего крестьянина — излагается в такой форме, про которую всего справедливее можно сказать, что сквозь видимый смех блестят незри-

мые слезы. Все знали, что письмо Пущина к губернским друзьям есть уже половина дела.

Так делал он всю жизнь. Мне случилось встретить человека, с восторгом рассказывавшего, как он, зная Пущина только по слухам, обратился к нему письменно, прося похлопотать о деле, и вскоре получил ответ, писанный уже посторонним человеком под диктовку Пущина, в котором он уведомляет, что по письму его сделано все возможное. Письмо это писано накануне смерти Пущина.

М. С. КОРСАКОВ

Путевые заметки

Середа, 23 февраля 1849 г., Ялуторовск.

Отвезу посылки несчастным, как их здесь называют... Отправился к Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, который, узнав, что я приехал в Ялуторовск, прислал за мной лошадь. У него нашел я и прочих: то есть Ивана Дмитриевича Якушкина и Ивана Ивановича Пущина...

Пущин высокого роста, молодец собой, а Якушкин маленький, седой, лицо доброе. Очень они были рады мне; сейчас же разобрали посылки и прочли письма, которые я им привез. Расспрашивали меня про своих, все им было интересно. Они здесь получают газеты и следуют за политикой и даже лучше знали ее, нежели я, приехавший из столицы. Много говорили о Семеновском полку. Двое из них служили прежде, то есть еще при Александре Павловиче, в старом Семеновском полку. Пущин же — в Конной артиллерии.

Про гомеопатию много говорили. У них в этот день много было гостей. У Матвея Ивановича воспитываются две девочки, и к ним-то приезжали гости. Я пил чай и ужи-

нал у них и вечер провел очень приятно, с умными людьми и нельзя иначе.

Хотел было я сегодня же в ночь выехать из Ялуторовска, но Пущин звал меня к себе завтра утром кофей пить. Я подумал, что для них немалое удовольствие видеть кого-нибудь, который может им рассказать про родню, обещал прийти на кофей, да к тому сегодня написал письмо кстати домой. Теперь час пополуночи — пора спать.

Четверг, 24.

Ялуторовск. Сегодня встал я и только что начал бриться, в комнату ко мне взошел Матвей Иванович Муравьев. Он заехал за мной, чтоб вместе отправиться к Пущину. Там застали мы Якушкина, а потом пришел и Оболенский. С ним говорил я о гомеопатии и рассказывал им удивительные случаи вылечивания папенькою больных. Много опять говорили про прошедшее...

Якушкин завел здесь школу. Помощником у него — священник здешний. Очень порядочная на вид девочка лет 16, воспитанница Матв. Ив. Бедная нездорова и сегодня едет в Тобольск лечиться...

Все утро просидел у Пущина и обещал ему отобедать у него...

Обедал у Ив. Ив. Пущина. Живет он, кажется, в довольстве, стол очень вкусный; обедали у него и Якушкин, Муравьев-Апостол и Оболенский...

Жаль мне было прощаться с ними, так радушно они приняли меня и с таким чувством благодарили меня за то, что я к ним в Ялуторовск заехал. Бедные люди!..

Прощаясь, Пущин протянул мне руку, я обнял его, и крепко поцеловались мы; так же простился я и с другими. Грустно мне было. Каково им жить одним так далеко от своих! Все они вышли провожать меня на двор, помогали садиться мне. Сами застегнули кибитку, и крепко пожали мы друг другу руки.

Странно! люди они мне чужие, провел я с ними день и так сблизился, как будто давно уже были мы знакомы. А полюбил я их...

Е. И. ЯКУШКИН

Пущин[1], несмотря на то что ему теперь 57—58 лет, до такой степени живой и веселый человек, как будто он только что вышел из Лицея. Он любит посмеяться, любит заметить и подтрунить над чужой слабостью и имеет привычку мигнуть, да такую привычку, что один раз, когда ему не на кого было мигнуть, то он долго осматривался и, наконец, мигнул на висевший на стене образ. В то же время это человек до высочайшей степени гуманный (я, право, не знаю, как выразиться иначе) — он готов для всякого сделать все, что может, он одинаково обращается со всеми: и с губернатором, когда тот бывает в Ялуторовске, и с мужиком, который у него служит, и с чиновниками, которые иногда посещают его. Никогда он не возвысит голоса более с одним, чем с другим.

Он переписывается со всеми частями Сибири, и когда надо что-нибудь узнать или сделать, то обращаются обыкновенно к нему. Он столько оказывал услуг лицам разного рода, что в Сибири, я думаю, нет человека, который бы не знал Ивана Ивановича хоть по имени.

Он один из немногих, отзывающихся с полным уважением о деле, за которое они живут в Сибири, и не делающих в этом отношении ни малейшей уступки; я даже не удивился бы, ежели бы он, возвратясь в Россию, завел, как он называет, маленькое общество...

---

[1] Из письма Е. И. Якушкина к жене (Ялуторовск, август, 1855).

1853 г. я познакомился с Иваном Ивановичем Пущиным[1], жившим в то время в г. Ялуторовске. Имя Пущина было давно мне известно из стихотворений Пушкина. Некоторые рассказы лиц, знавших его до его ссылки, вызывали во мне глубокое к нему сочувствие: личное знакомство с этим «первым другом» великого поэта еще более усилило то чувство уважения, которое я имел к нему ранее. Он произвел на меня сильное впечатление. Когда я с ним познакомился, ему было 55 лет, но он сохранил и твердость своих молодых убеждений и такую теплоту чувств, какая встречается редко в пожилом человеке. Его демократические понятия вошли в его плоть и кровь: в какое бы положение его ни ставили обстоятельства, с какими бы людьми ни сталкивала его судьба, он был всегда верен самому себе, всегда был одинаков со всеми. Люди самых противоположных с ним убеждений относились к нему с глубоким уважением.

Сблизиться с таким человеком мне было тем более легко, что он был очень дружен с моим отцом. С первого же дня знакомства между мною и им установилась тесная связь, не прерывавшаяся до самой его смерти. Во время пребывания моего в Ялуторовске я виделся с ним каждый день. Большой интерес для меня представляли его рассказы, особенно о его лицейской жизни и об отношениях к А. С. Пушкину. Часть всех рассказов я записал тогда же, но эта краткая запись казалась мне очень бледной в сравнении с живою речью Пущина, поэтому я не один раз просил его написать его воспоминания о Пушкине.

С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно; я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым.

---

[1] Из книги Е. И. Якушкина «Записки И. И. Пущина о Пушкине» (Спб., 1907, стр. 83—84).

— Послушайте, что же я буду писать, — перебил он меня, — кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?

— Как кого? Я думаю, всех; вы Пушкина знали в Лицее, знали его после, до 26 лет, — он был с вами дружен, и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать и которые вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать.

— Да, ежели бы я мог написать что-нибудь интересное, я бы написал, но, во-первых, я не умею писать, хоть Пушкин и уверял всегда, что у меня большой литературный талант, да я, слава богу, ему не поверил и хорошо сделал, потому что точно не умею писать, а во-вторых, я могу сообщить только такие мелкие подробности, которые никого не могут интересовать, а писать для того, чтобы все знали, что я был знаком с Пушкиным, согласитесь сами, было бы очень смешно.

— Так вы просто скажите: я не хочу писать, потому что я самолюбив; но согласитесь сами, что, как бы ни были мелки подробности, которые вы можете рассказать, они все-таки будут интересны уже потому, что будут рассказаны о Пушкине; да иной случай вовсе незначительный обрисовывает совершенно характер человека, и вы хоть побожитесь, так я вам не поверю, чтобы вы не могли рассказать ни одного подобного случая.

— Ну, а есть и такие вещи, которых я, как товарищ, не хотел бы рассказывать про Пушкина. Например, я помню: мы были раз вместе в театре. Пушкин сидел в первом ряду и во время антрактов вертелся около Волконского (П. М.) и Киселева, как собачонка какая-нибудь, и это для того, чтобы сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания; мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю: «Что ты делаешь, Пушкин? можно ли себя так срамить — ведь над тобой все смеются!»

Он совершенно растерялся, а в следующий антракт опять то же. Это рассказывать, разумеется, мне не весело, а сношения мои с ним — для кого любопытны?

Ну что ж, я мог бы описать мою поездку к нему в деревню в 1825 г. Как я заехал в Опочку поздно вечером — целый час стучался в каком-то погребке, чтобы купить несколько бутылок шампанского, — нельзя же было приехать к Пушкину без вина. Ну, разумеется, он мне был ужасно рад; только на другой день утром мы сидим с ним, разговариваем, вдруг Пушкин вскакивает, бросается к столу и развертывает книгу. Я смотрю — что за книга? Библия. «Что с тобой, Пушкин?» — «Архимандрит едет». — Он был сослан в деревню и отдан под присмотр архимандриту. Архимандрит узнал, что к Пушкину кто-то приехал, и, по обязанности своей, явился узнать, кто такой. Ну, что же это для вас любопытно?

— Разумеется, любопытно.

— Для вас-то, может быть, потому что вы меня знаете.

— Да и для всех любопытно.

— Ну хорошо, я для вас напишу все, что припомню.

— Даете слово?

— Даю и приготовлю к вашему возвращению...

Итак, одно дело было сделано.

Вечер я просидел с Пущиным — разумеется, разговор большей частью шел о войне.

— Успеха нечего ждать, — сказал Ив[ан] Ив[анович], — но и неуспех будет нам полезнее самого блестящего успеха, ежели он откроет нам, наконец, глаза...

Вечером, напившись чаю, я простился со всеми у Ивана Ивановича и отправился в Тобольск...

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание включены Записки И. И. Пущина о Пушкине, письма И. И. Пущина, а также воспоминания о нем современников. Письма и воспоминания даются в основном в извлечениях. Источником текста главным образом служило издание, подготовленное С. Я. Штрайхом (И. И. Пущин. «Записки о Пушкине. Письма». Серия литературных мемуаров. М., ГИХЛ, 1956). При подготовке данной книги учтена также текстологическая работа, проделанная Я. Л. Левкович, опубликовавшей текст Записок И. И. Пущина в двухтомнике «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Серия литературных мемуаров. М., «Художественная литература», 1974. В примечаниях частично использован материал, содержащийся в комментариях к указанным выше изданиям.

ЗАПИСКИ И. И. ПУЩИНА

Впервые с цензурными изъятиями Записки И. И. Пущина о Пушкине опубликованы в журнале «Атеней» (1859, т. VIII, ч. 2, с. 500—537). Полностью напечатаны Е. И. Якушкиным («Записки И. И. Пущина о Пушкине». Спб., 1907).

Стр. 30. *Евгений Иванович Якушкин* (1826—1905)—сын декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. В 1852—1856 гг. приезжал в Сибирь. В Ялуторовске встретился и подружился с И. И. Пущиным. Е. И. Якушкина очень заинтересовали услышанные им от Пущина рассказы о Пушкине. Он уговорил Пущина записать их, что тот и сделал по возвращении из ссылки.

...при первых наших встречах в доме Бронникова...— В доме вдовы Бронниковой Пущин жил в Ялуторовске.

Стр. 31. *...не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах...*— имеется в виду место около Афин

(Лицей, или Ликей), где юноши обучались искусствам, философии и гимнастике.

Стр. 31. *...андреевскому кавалеру...* — П. И. Пущин имел орден апостола Андрея Первозванного.

Андрей Михайлович *Рябинин* (1772—1854) — брат матери Пущина.

Стр. 32. *Василий Львович Пушкин* (1766—1830) — дядя Пушкина, в то время известный поэт.

Стр. 33. *Анна Николаевна Ворожейкина* — гражданская жена В. Л. Пушкина.

Стр. 36. *...в сопровождении обеих императриц...* — имеются в виду мать Александра I — Мария Федоровна и его жена Елизавета Алексеевна.

...выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский... Бледный, как смерть, начал что-то читать... — волнение Малиновского объяснялось тем, что он вынужден был читать не свою речь, запрещенную за ее прогрессивное содержание министром просвещения А. К. Разумовским, а речь, написанную для него по приказу министра директором департамента И. И. Мартыновым. Декабрист А. Е. Розен вспоминал: «Малиновский был необыкновенно скромен... и должен был произнести речь, которая десятки раз была переправлена предварительно цензурой; так мудрено ли, что он был смущен?..» (А. Е. Розен. «В ссылку. Записки декабриста». Спб., 1907, с. 37).

Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын... — речь Куницына, произнесенная им на церемонии открытия Лицея, была проникнута свободолюбивыми идеями, в дальнейшем во многом определившими направление лицейского воспитания. С неизменным уважением и благодарностью о Куницыне отзывался Пушкин, не раз упоминавший его в своих произведениях (см. «19 октября» (черновик), «Была пора: наш праздник молодой», «Послание цензору», «Программа автобиографии»).

Стр. 38. *Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней...* — Пущин ошибся: стихотворение Пушкина «К

Н. Я. Плюсковой» («На лире скромной, благородной...») было написано в 1818 г. и отражало настроения правого крыла «Союза благоденствия», возглавляемого Федором Глинкой, связанные со стремлением возвести на престол в результате дворцового переворота императрицу Елизавету Алексеевну.

Н. Я. Плюскова — фрейлина императрицы, близкая к литературным кругам.

Стр. 40. *Рекреационная зала* — зала для отдыха после занятий.

Стр. 41. *Дортуары* — спальни.

Стр. 42. М. А. *Золотарев* — помощник надзирателя по хозяйственной части Лицея.

Стр. 43. *...Сазонов, необыкновенное явление физиологическое...* — лицейский «дядька» К. Сазонов за два года службы в Лицее совершил в Царском Селе 6 или 7 убийств.

«...И Пешель доктором моим»... — Ф. О. *Пешель* — лицейский врач.

«Сыны Бородина, о кульмские герои!..» — отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.».

Кульмские герои — русские воины, отличившиеся в сражении с французами близ села Кульм в Чехии 17—18 августа 1813 г.

Стр. 44. Реляции — донесения.

Николай Федорович *Кошанский* (1781—1831) — профессор русской и латинской словесности в Лицее.

Стр. 45. *«Товарищ милый...»* — отрывок из стихотворения, впоследствии переработанного Пушкиным и озаглавленного «К студентам». В стихотворении есть еще строки, обращенные к Пущину:

С тобой тасуясь без чинов,
Люблю тебя душою —
Наполни кружку до краев,—
Рассудок, бог с тобою!..

Стр. 45. *«Нередко и бранимся...»* — эти и следующие выделенные в стихах строки подчеркнуты Пущиным.

Стр. 45. *«Взглянув когда-нибудь...»* — в окончательной редакции стихотворение озаглавлено: «В альбом Пущину» (1817), текст несколько изменен.

Стр. 46. *«При самом начале — он наш поэт».*— Поэтическое дарование Пушкина было отмечено уже в 1813 г. 12 сентября 1813 г. гувернер Чириков в ведомости о «свойствах» воспитанников записывает о Пушкине: «имеет особенную страсть к поэзии» (Б. В. Томашевский. «Пушкин», кн. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 29).

...Пушкин мигом прочел два четверостишия... — эти стихи не сохранились.

Стр. 47. *...импровизировал так называемые народные песни...*— Пущин имеет в виду популярные среди лицеистов песни — плод коллективного творчества, куплеты на воспитателей и товарищей, распевавшиеся хором.

Тетради барона Модеста Корфа... — рукописные сборники лицейских стихотворений Пушкина, которыми П. В. Анненков пользовался для своего издания сочинений поэта.

Стр. 49. *«Помнишь ли, мой брат по чаше...»* — стихотворение «Воспоминание (к Пущину)» (1815).

Стр. 50. *«Мы недавно от печали...»* — Пущин ошибся, приписав четверостишие И. И. Дмитриеву. Это начало оды Д. В. Давыдова «Мудрость», в которой четвертый стих читается несколько иначе: «И просили Мудрость вон».

Стр. 51. Иван Кузьмич *Кайданов* (1782—1845) — адъюнкт-профессор исторических наук Лицея. Читал курс истории, географии и статистики.

Яков Иванович *Карцов* (1780-е гг.—1836) — адъюнкт-профессор физико-математических наук Лицея.

Стр. 52. *На публичном нашем экзамене Державин...* — имеется в виду публичный экзамен 8 января 1815 г., где Пушкин в присутствии Г. Р. Державина и многочисленных гостей читал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» (1814). Это чте-

ние стало подлинным триумфом юного поэта. Сам Пушкин не раз вспоминал об этом: в послании 1816 г. «К Жуковскому», в «Евгении Онегине» (гл. VIII, строфа II), в отрывке 1835 г., предназначавшемся, по всей вероятности, для неосуществленных «Записок». «Воспоминания в Царском Селе» было первым произведением, напечатанным поэтом в 1815 г. с полной подписью. С. Л. Пушкин вспоминал: «...Бессмертный певец бессмертной Екатерины благодарил тогда моего сына и благословил его поэтом... Я не забуду, что за обедом, на который я был приглашен графом А. К. Разумовским, бывшим тогда министром просвещения, граф, отдавая справедливость молодому таланту, сказал мне: «Я бы желал, однако же, образовать сына вашего к прозе». «Оставьте его поэтом»,— отвечал ему за меня Державин с жаром, вдохновенный духом пророчества» («Отечественные записки», 1841, т. XV, стр. II Особого прилож.).

Стр. 53. *«К живописцу»* — стихотворение 1815 г. Обращено к лицеисту А. Д. Илличевскому, недурно рисовавшему. Посвящено Екатерине Павловне Бакуниной (1795—1869), сестре лицейского товарища Пушкина А. П. Бакунина. Увлечение поэта Е. П. Бакуниной отмечено записью в его лицейском дневнике: «29 января 1815 г. Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем стоял под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было. Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!.. Как она мила была, как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов — ах! Какое положение, какая мука! Но я был счастлив 5 минут!» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1949, т. XII, с. 297). Чувство к Бакуниной выражено Пушкиным в целом ряде стихотворений лицейских лет.

Стр. 54. *«Любезный именинник...»* — так начинается стихотворение «К Пущину» (1815) с подзаголовком «4 мая». Однако 4 мая — день рождения Пущина, именины его — 8 мая.

Стр. 60. *...утратился из допотопного моего портфеля...* — портфель Пущина с копией конституции Никиты Муравьева, а также

с рукописями стихов Пушкина, Рылеева и Дельвига был возвращен Пущину Вяземским в 1857 г. после амнистии декабристам. Е. И. Якушкин рассказывал, что 14 декабря, после восстания декабристов, Пущин отдал его на сохранение Вяземскому. Это свидетельство опровергается письмом М. И. Пущина к брату от 22 апреля 1857 г.: «Допотопный портфель твой спрашивай у Вяземского, которому он еще в 41 году отдан мною на сохранение».

Стр. 61. *...музыка Теппера...* — Теппер де Фюргюсон Вильгельм Петрович (ок. 1775— не ранее 1823) — учитель хорового пения и музыки в Лицее.

Он был тронут и поэзией и музыкой... — это свидетельство Пущина расходится с сообщением Модеста Корфа о том, что Александр I ушел с акта до пения стихов Дельвига (Я. К. Грот. «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники». Спб., 1899, с. 222 и сл.).

Стр. 62. *...я был частым гостем артели...* — речь идет о «Священной артели», ранней преддекабристской организации (см. вступительную статью, с. 10).

Стр. 63. *...объявлено было об уничтожении общества...* — имеется в виду реорганизация 1821 г., когда под покровом ликвидации «Союза благоденствия» были сформированы новые общества — Северное и Южное.

Стр. 65. *«На прочее завеса!»* — строка из стихотворения Пушкина «К студентам».

Стр. 66. *Николай Иванович Тургенев* (1789—1871) — один из руководителей «Союза благоденствия», видный член Северного общества. Организатор так называемого «Журнального общества», задуманного осенью 1818 г. как легальное. С 1819 г. общество должно было начать издание общественно-политического журнала «Россиянин XIX века», проспект которого составлялся Н. И. Тургеневым и А. П. Куницыным. Издание не осуществилось, и общество распалось по причинам общеполитическим и цензурным. Появление Пушкина на заседании общества не было

«нечаянным»: Н. И. Тургенев намеревался привлечь поэта к сотрудничеству в журнале.

Стр. 70. *Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан...* — Пущин в данном случае преувеличивает значение заступничества Е. А. Энгельгардта. Помогли главным образом хлопоты П. Я. Чаадаева, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. И. Тургенева, Ф. Н. Глинки.

Стр. 71. *...я... по некоторым обстоятельствам, сбросил конноартиллерийский мундир...* — о причинах перехода Пущина из армии на гражданскую службу см. во вступительной статье (с. 7).

Стр. 74. *...я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет...* — имеется в виду знаменитый портрет Пушкина работы О. А. Кипренского, написанный в Петербурге в 1827 г. и гравированный Н. И. Уткиным. В настоящее время находится в Третьяковской галерее. Современники, а также отец поэта признавали этот портрет наиболее удачным изображением Пушкина. Сам Пушкин, высоко оценя мастерство Кипренского, замечал в стихах, обращенных к художнику («Кипренскому», 1827):

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

Стр. 75. *...его разговоры о религии...* — после этих слов в рукописи знак отсылки к дополнению 1-му, помещенному в конце тетради. Приводим это дополнение полностью: «Случайно довелось мне недавно видеть копию с переписки графа Нессельроде с графом Воронцовым, вследствие которой Пушкин был сослан из Одессы на жительство в деревню отца. Поводом к этой переписке, без сомнения, было перехваченное на почте письмо Пушкина, но кому именно писанное — мне неизвестно; хотя об этом письме Нессельроде и не упоминает, а просто пишет, что по дошедшим до императора сведениям о поведении и образе жизни Пушкина в Одессе его величество находит, что пребывание в этом шумном городе для молодого человека во многих отношениях вредно, и потому поручает спросить его мнение на этот счет. Воронцов ответил, что совершенно согласен с высочайшим оп-

ределением и вполне убежден, что Пушкину нужно больше уединения для собственной его пользы.

Вот копия с отрывка из письма Пушкина, которое в полном составе его мне неизвестно:

«Читая Шекспира и Библию, Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю?— пишу пестрые строфы романтической поэмы («Евгения Онегина».— *С. С.*) и беру уроки чистого Афеизма. Здесь Англичанин, глухой Философ, единственный умный Афей, которого я еще встретил (доктор В. Гутчинсон, домашний врач М. С. Воронцова.— *С. С.*). Он написал листов тысячу, чтобы доказать: qu'il ne peut éxister d'être intelligent Créateur et réqulateur[1], мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души.— Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более правдоподобная».

Из дела видно, что Пушкин по назначенному маршруту, через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск, отправился из Одессы 30 июля 1824 года, дав подписку нигде не останавливаться на пути по своему произволу и, по прибытии в Псков, явиться к гражданскому губернатору.

9 августа того же года Пушкин прибыл в имение отца своего статского советника Сергея Львовича Пушкина, состоящее в Опочковском уезде» (см. И. И. Пущин. «Записки о Пушкине. Письма». Под ред. С. Я. Штрайха. М., ГИХЛ, 1956, с. 79—80).

Стр. 75. *...соседей в Тригорском...* — имеется в виду семья П. А. Осиповой.

Стр. 76. *И ныне здесь, в забытой сей глуши...»* — эта и следующие строки — из стихотворения «19 октября», в том числе и из его черновой рукописи.

...все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости... — у Пущина неточность: он был в Михайловском в январе 1825 г.; В Ф. *Раевский* (1795—

---

[1] Что не может существовать существа разумного, создателя и правителя *(франц.)*.

1872) — член «Союза благоденствия», «первый декабрист», поэт, арестован в феврале 1822 г.

Стр. 77. *...Я тотчае заметил между ними одну фигурку...* — речь идет об Ольге Калашниковой — героине «крепостной любви» Пушкина.

...не припомню теперь метких его замечаний, которые... частию явились в печати. — Подробный критический разбор комедии (с возражением против ее «плана» и характера Чацкого) Пушкин сделал в письме к А. А. Бестужеву (январь 1825 г.). Отрывок из письма был опубликован в статье В. П. Гаевского «Дельвиг» («Современник», 1854, т. XLVII, № 9, с. 20—21) и в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина» П. В. Анненкова (Спб., 1855, с. 111). Некоторые дополнительные замечания (при общей высокой оценке ума и таланта Грибоедова) Пушкин сообщил в письме к П. А. Вяземскому (январь 1825 г.). Отрывок из письма приведен в статье П. А. Вяземского о Фонвизине («Современник», 1837, т. V, с. 69).

Стр. 81. *...я послал эти стихи к Плетневу...* — стихотворение «Мой первый друг» вместе с посланием 1817 г. «В альбом Пущину» («Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок...») Пущин переслал через П. П. Ершова, автора «Конька-Горбунка», П. А. Плетневу, издававшему журнал «Современник». Оба стихотворения, без указания имени Пущина, были напечатаны в «Современнике» (1841, т. XXII, май, с. 327—373). Подробно об этом см.: И. И. Пущин. «Записки о Пушкине. Письма». (Под ред. С. Я. Штрайха). ГИХЛ, 1956, примеч. 72, с. 398—399.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846) — лицейский товарищ Пушкина, декабрист, поэт.

Стр. 82. *...в генваре 1837 года... Розенберг зашел в мой 14-й номер.* — Пущин ошибся. Розенберг мог вернуться в Петровский Завод из Петербурга только в феврале 1837 г. Пушкин скончался 29 января, отпевание в Конюшенной церкви, на котором присутствовал Розенберг, происходило 1 февраля.

Стр. 84. Владимир Иванович *Даль* (1801—1872) — врач, писатель, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».

27—29 января 1837 г. Даль находился при умирающем Пушкине. После смерти Пушкина Даль получил на память о нем его перстень и сюртук, простреленный во время дуэли. Оставил воспоминания и рассказы о Пушкине, а также записку о ранении и смерти поэта.

Стр. 84. *Константин* Карлович *Данзас* (1801—1870) — лицейский товарищ Пушкина, секундант в его дуэли с Дантесом. Со слов Данзаса записаны его воспоминания о дуэли и смерти Пушкина.

Иван Васильевич *Малиновский* (1796—1873) — лицейский товарищ Пушкина. В письме к М. А. Корфу от 26 февраля 1837 г. из с. Каменка (Харьковской губернии), где тогда жил Малиновский, он выразил свою скорбь по поводу трагической гибели Пушкина.

В Приложении к своим Запискам Пущин поместил полученные Пушкиным анонимные пасквили, приведшие поэта к роковой дуэли, и несколько писем, также связанных с дуэлью (почти все — на французском языке; их русский перевод — в Записках Пущина о Пушкине (М., Гослитиздат, 1934 и 1937). Это несколько случайных документов, давно введенных в научный оборот (см.: П. Е. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы». Изд. 3-е, М.—Л., Госиздат, 1928). Самостоятельного значения не имеют, поэтому, как правило, в издание Записок И. И. Пущина не включаются.

ПИСЬМА

Эпистолярное наследие И. И. Пущина очень велико. До нас дошло около 700 его писем. Большая их часть относится к тридцатилетнему пребыванию Пущина в тюрьмах и на поселении и содержит огромный и разнообразный материал исторического, этнографического характера, дает яркое представление о бытовых условиях, в которых жили декабристы. Но главное — и в этом их особая ценность — письма Пущина с необычайной отчетливостью вырисовывают образ их автора — человека высоких граж-

данских убеждений, сильного духом, и в тяжелых условиях ссыльной жизни сумевшего сохранить чувство бескорыстной любви к людям, жизненную энергию, светлый оптимизм.

В настоящем издании представлено всего 29 писем И. И. Пущина, причем большая их часть дана в извлечениях, что объясняется популярным характером издания и ограниченностью его объема. Письма к Пушкину, а также все упоминания о нем и о работе над Записками о поэте представлены в полном объеме. Наиболее полная публикация эпистолярного наследия Пущина (256 писем) была осуществлена С. Я. Штрайхом в его издании Записок и писем Пущина (М., ГИХЛ, 1956, с. 91—359).

Порядковый номер письма обозначен в примечаниях соответствующей цифрой. В случае необходимости дается короткая справка об адресате.

1

Владимир Дмитриевич Вольховский (1798—1841) — лицейский товарищ Пущина. Участник «Священной артели» (1814—1817), член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», привлекался по делу декабристов. В 1826 г. был переведен на Кавказ в действующую армию. Участвовал в войнах с Персией и Турцией (1826—1829). В 1839 г. вышел в отставку в чине генерал-майора. Был в дружеских отношениях с Пушкиным.

Стр. 86. *...Мой Надворный Суд...* — о переходе И. И. Пущина на гражданскую службу и о вступлении в должность надворного судьи в Москве см. во вступительной статье (с. 7—8).

2

Первое письмо, написанное Пущиным Пушкину в Михайловское после знаменательной встречи друзей в январе 1825 г.

Стр. 86. *Деньги твои возвращаю...* — Пушкин просил Пущина передать В. Ф. Вяземской, жене П. А. Вяземского, свой долг, взятый им у нее в Одессе. По поводу этих денежных расчетов Пушкин писал П. А. Вяземскому 28 января 1825 г. из Тригорского: «Пущин привезет тебе 600 р. Отдай их кн. В. Ф.».

Иван Иванович Дмитриев (1760—1837) — известный в те годы поэт, баснописец.

3

Стр. 87. *Рылеев поручил мне доставить труды его...* — имеются в виду поэма Рылеева «Войнаровский» и его «Думы» (см. предыдущее письмо).

Княгиня... — В. Ф. Вяземская.

С. И. *Селивановский* — содержатель типографии в Москве и книгопродавец.

Мы ждем Ломоносова на днях из Парижа. — Сергей Григорьевич Ломоносов (1799—1857) — лицеист 1-го выпуска, служил по дипломатической части.

Знаменательный день. — Годовщина воцарения Александра I после убийства его отца Павла I.

4

Стр. 87 *...получил послание твое в прозе...* — письмо Пушкина к Пущину не обнаружено.

Стр. 88. *...с большим удовольствием читают Онегина.* — Первая глава «Евгения Онегина» вышла в свет отдельным изданием в начале 1825 г.

5

Степан Михайлович Семенов (1789—1852) — член Северного общества (в управе Пущина). Впоследствии был отправлен на службу в Сибирь.

Письмо было послано через декабриста С. М. Семенова члену тайного общества генералу М. Ф. Орлову (1788—1842), который сжег подлинник. Настоящий текст составлен Орловым по памяти в показании на допросе после 14 декабря 1825 г. В показаниях других московских декабристов это письмо приводится с таким дополнением: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний, единственный слу-

чай». (Об участии И. И. Пущина в подготовке восстания см. вступительную статью, с. 15).

6

После приговора И. И. Пущина продержали пятнадцать месяцев в Шлиссельбургской крепости. В октябре 1827 г. его отправили на каторгу в Читу. Письмо писалось по дороге к месту заключения.

Стр. 88. Александр Викторович *Поджио* (1798—1873) — член Южного общества, осужден в каторгу навечно, с 1839 г. жил на поселении близ Иркутска.

Стр. 88—89. Петр Александрович *Муханов* (1799—1854) — писатель; член «Союза благоденствия», деятельный участник московской управы Северного общества, осужден в каторгу на 12 лет, с 1832 г. жил на поселении в Иркутской губернии. Был близко знаком с Пушкиным.

Стр. 89. *Михайло произведен в офицеры.*— Имеется в виду брат И. И. Пущина Михаил Иванович Пущин (1800—1869) — декабрист. Был сослан на поселение в Сибирь, в конце 1826 г. отправлен рядовым в Кавказскую армию, где проявил незаурядное дарование руководителя боевыми операциями. Был произведен в офицеры. Оставил воспоминания о встречах с Пушкиным в Закавказье и на Кавказских минеральных водах (Пушкин также вспоминал об этом в «Путешествии в Арзрум»).

...что все малютки со мной... — имеются в виду портреты родных — сестер, их детей и т. д.

7

Егор Антонович Энгельгардт (1775—1862) — бывший директор Царскосельского лицея (март 1816—1822). С 1822 г. — в отставке. Пользовался доверием и расположением большинства лицеистов. С Пущиным был связан искренними дружескими отношениями. С Пушкиным такого контакта не было, их отношения, как правило, не выходили за пределы официальных.

8

Стр. 91. *Скажите что-нибудь о наших чугунниках...* — то есть о друзьях-лицеистах. В 1817 г. по случаю окончания Лицея Энгельгардт роздал лицеистам 1-го выпуска чугунные кольца в знак прочности их союза.

Стр. 92. Павел Николаевич *Мясоедов* (1799—1868) — лицеист 1-го выпуска. До 1823 г. состоял в военной службе, затем отставной поручик, чиновник канцелярии Министерства юстиции, помещик Алексинского уезда Тульской губернии.

9

Стр. 92. *19 октября*—день открытия Лицея, ставший для лицеистов традиционным днем встречи (об отношении Пушкина и Пущина к лицейским годовщинам см. вступительную статью, с. 26).

...бедному Вильгельму... — Пущин имеет в виду Вильгельма Карловича Кюхельбекера.

...памятные листки... — вероятно, имеются в виду получившие тогда широкое распространение записки И. Т. Спасского (домашнего врача Пушкиных) и В. И. Даля о кончине Пушкина.

Алексей Демьянович *Илличевский* (1798—1837) — лицеист 1-го выпуска, поэт.

...письмо Жуковского... — имеется в виду письмо В. А. Жуковского «Последние минуты Пушкина», опубликованное в журнале «Современник», 1837, т. V.

10

Стр. 93. *9 июня* — день окончания Лицея лицеистами 1-го выпуска в 1817 г.

...слова Дельвига... — приводятся слова из прощальной песни лицеистов, написанной А. А. Дельвигом.

11

Первое собственноручное письмо И. И. Пущина по выходе из тюрьмы (до этого письма писались под диктовку).

Стр. 94. *Евгений Петрович Оболенский* (1796—1865) — один из деятельнейших участников движения декабристов, член Северного общества, осужден навечно на каторжные работы. С 1839 г. вышел на поселение. Близкий друг И. И. Пущина. В Ялуторовске Пущин и Оболенский поселились вместе, в доме Бронникова.

Стр. 94. Михаил Матвеевич *Спиридов* (1796—1854) — член Общества соединенных славян, осужден в каторгу навечно. С 1839 г. на поселении в Красноярске.

Баранов — офицер в Петровской тюрьме.

Море — имеется в виду озеро Байкал.

К. Карл. — Кузьмина, воспитательница *Нонушки* (дочери Н. М. Муравьева); *Мария Николаевна* — Волконская, ее сын *Миша* — крестник Пущина.

...кроме Трубецких, Юшневских и Артамона. — Имеются в виду семьи декабристов Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860), Алексея Петровича Юшневского (1786—1844) и декабрист Артамон Захарович Муравьев (1794—1846).

Александр Петрович *Барятинский* (1798—1844) — видный деятель Южного общества.

Василий Львович *Давыдов* (1792—1855) — деятельный участник Южного общества.

Андрей Васильевич *Пятницкий* — иркутский губернатор.

12

Стр. 95. *Annette* — Анна Ивановна Пущина — сестра И. И. Пущина. Принимала деятельное участие в судьбе брата.

13

Стр. 95. Василий Петрович *Ивашев* (1794—1840)—офицер Кавалергардского полка, член Южного общества, осужден в каторгу на 20 лет. С 1836 г. на поселении в Туринске.

Иван Александрович *Анненков* (1802—1878) — член Петербургского отделения Южного общества, осужден в каторгу на

20 лет. С 1835 г. на поселении в Тобольске. По возвращении в Россию жил в Нижнем Новгороде.

Николай Васильевич *Басаргин* (1799—1861) — член Южного общества, осужден в каторгу на 20 лет. С 1835 г. на поселении в Ялуторовске.

15

Стр. 97. Иван Дмитриевич *Якушкин* (1793—1857) — учредитель «Союза спасения», деятельный участник тайных обществ, осужден в каторгу на 20 лет. С 1835 г. на поселении в Ялуторовске. Автор философских сочинений и Записок о заговоре.

...*записки Andryane*... — имеются в виду Записки политического заключенного Андриане (франц. издание 1839 г.)

Тьер Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк, автор «Истории французской революции».

Петр Николаевич *Свистунов* (1803—1889) — член Северного и Южного обществ, осужден в каторгу на 20 лет. С 1837 г. на поселении в Тобольске.

16

Стр. 98. ...*Басаргин мне обещает туда переслать*... — по просьбе Пущина Басаргин собирал сведения о Туринске и его уезде для «Земледельческой газеты» Е. А. Энгельгардта.

...*лицейскому вашему предприятию*... — Е. А. Энгельгардт собирал капитал для помощи сиротам лицеистов; 12 сентября 1841 г. он писал Ф. Ф. Матюшкину, что Пущин передал в этот капитал 100 рублей.

17

Стр. 98. *Вы спрашиваете о моем переводе*... — речь идет о перемене Пущиным места жительства. Климат Туринска, где он обосновался, вредно влиял на его здоровье. Пущин просил о переводе его в село Урик близ Иркутска, где жил талантливый врач, декабрист В. Б. Вольф. В переводе было отказано. Только в 1843 г. Пущину было разрешено переехать в Ялуторовск.

Стр. 98. Семен Григорьевич *Краснокутский* (? —1840) — член Южного общества, осужден в ссылку на 20 лет.

18

Это письмо представляет собою своеобразный дневник, составлявшийся в течение четырех месяцев и ожидавший случая отсылки с оказией, неофициальным путем.

Стр. 99. *Левонтий Кемерский* — служитель Лицея.

...дать пряжку... — пряжка — орден за беспорочную службу в течение определенного количества лет.

19

Дмитрий Иринархович Завалишин (1804—1892) — был близок к Северному обществу, осужден в вечную каторгу. Выйдя на поселение, жил в Чите. Оставил Записки.

Стр. 102. *...В Европе необыкновенные события.*— Имеются в виду революционные события 1848 г. в ряде европейских стран (Франции, Германии, Австрии).

20

Яков Дмитриевич Казимирский — офицер в Петровской тюрьме, друг декабристов, оказывал им разные услуги.

21

Стр. 102. Михаил Семенович *Корсаков* (1826—1871) — родственник Н. Н. Муравьева (Амурского), генерал-губернатора Восточной Сибири; чиновник при нем и преемник его по должности. См. помещенные в данном издании отрывки из путевых заметок М. С. Корсакова о свидании с Пущиным в феврале 1849 г. (с. 114—116).

22

Федор Федорович Матюшкин (1799—1872) — лицейский друг Пушкина и Пущина, ученый, моряк-путешественник, впоследствии адмирал, сенатор. Автор Записок о кругосветных плава-

ниях русских кораблей. О чувствах, испытываемых Ф. Ф. Матюшкиным к Пущину, можно судить по его письму, посланному Е. А. Энгельгардту 19 октября 1826 г. Ф. Ф. Матюшкин узнает о восстании декабристов. Потрясенный этими известиями, он пишет:

«Егор Антонович! Верится ли мне? Пущин!.. Нет, Пущин не может быть виноват, не может быть преступником. Я за него отвечаю... Признаюсь Вам, Егор Антонович, когда я прочел его в списке <нрзб.>, я думал, что и я виноват, я его так любил, так люблю. Разберите его жизнь, его поступки — никто из нас не делал столько добра как человек и как русский...» («Прометей», 1972, № 9).

Стр. 103. *Федернелке* — лицейское прозвище Ф. Ф. Матюшкина.

Стр. 105. *Борис* Карлович Данзас (1799—1868) — лицеист 2-го выпуска, член Практического союза, основанного Пущиным в Москве.

...Тринадцать лет были на корабле... — то есть в густонаселенных каторжных тюрьмах Читы и Петровского.

23

Стр. 106. Сильверий Францевич *Броглио* (1799—1820-е) — лицеист 1-го выпуска. Участвовал в греческом национально-освободительном движении и погиб.

Алексей Дмитриевич *Тырков* (1799—1843) — лицеист 1-го выпуска. После окончания Лицея состоял в военной службе. С 1822 г. в отставке, владелец имения под Любанью Новгородской губернии.

Помогли Тыркову чёрты...— строки из лицейской «национальной» песни.

Александр Иванович *Одоевский* (1802—1839) — член Северного общества, осужден в каторгу на 12 лет. С 1832 г. на поселении в Иркутской губернии. С 1837 г. — рядовой Кавказской армии. Талантливый поэт, автор ответа на послание Пушкина «В Сибирь».

24

Одно из первых писем, написанных Пущиным по возвращении из ссылки.

Стр. 106. *Николай* Иванович Пущин (1803—1874) — брат И. И. Пущина.

Прасковья Егоровна Анненкова (1800—1876) — жена декабриста.

Наташа, Володя, Николай — дети И. А. Анненкова.

25

Наталия Дмитриевна Фонвизина (1805—1869), урожд. Апухтина — жена декабриста М. А. Фонвизина; после его кончины с 1857 г. — жена И. И. Пущина.

26

Первое письмо, в котором упоминается о работе Пущина над Записками о Пушкине.

стр. 107. *Шафер* (на свадьбе И. И. Пущина и Н. Д. Пущиной),— он же — *адмирал* — Ф. Ф. Матюшкин (см. о нем примеч. к письму № 22).

«Мильон... вопросов» задан жившему на одной квартире с Матюшкиным его другу Михаилу Лукьяновичу Яковлеву (1798—1868) — лицеисту 1-го выпуска, даровитому певцу и композитору-дилетанту.

28

Стр. 108. *...известные стихи в альбом Елизаветы Алексеевны.*— Вероятно, Пущин имеет в виду стихотворение Пушкина, посвященное императрице и озаглавленное «К Н. Я. Плюсковой» («На лире скромной, благородной...»). Написано после окончания Лицея, в 1818 г. (см. об этом в примеч. к Запискам, с. 121).

Часы же были присланы Пушкину императрицей-матерью Марией Федоровной за стихи, написанные им в честь бракосочетания принца Вильгельма Оранского и сестры Александра I — Анны Павловны (1816). По лицейскому преданию, Пушкин

«разбил нарочно о каблук» эти часы, не желая иметь царского подарка. Впоследствии о заказанных ему строфах «Принцу Оранскому» Пушкин писал так:

И даже,— каюсь я, — пустынник согрешил.
Простите мне мой страшный грех, поэты:
Я написал придворные куплеты,
Кадилом дерзостным я счастию кадил.

29

Стр. 108. *...фотограф и литограф...* — Пущин так называет Е. И. Якушкина потому, что тот распространял фотографические и литографированные портреты декабристов.

...листы моей рукописи. — Имеются в виду Записки о Пушкине.

Стр. 109. *Павел Васильевич Анненков* (1812—1887) — редактор первого научного собрания сочинений Пушкина, первый биограф поэта.

...прибавить лист... — для посвящения Е. И. Якушкину Записок о Пушкине.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. И. ПУЩИНЕ

В этом разделе помещены воспоминания, дневниковые записи и другие документы современников И. И. Пущина. Даются в сокращении. Текст печатается по изданию: И. И. Пущин. «Записки о Пушкине. Письма». Серия литературных мемуаров. М., ГИХЛ, 1956.

Стр. 112. *...отец его был адмирал...* — Н. В. Басаргин ошибся: адмиралом был дед И. И. Пущина — Петр Иванович Пущин (1723—1812). Отец же — Иван Петрович Пущин (1754—1842) был генерал-интендантом флота и сенатором.

Стр. 113. *Михаил Стефанович Знаменский* (1834—1892) — воспитанник декабристов, сын их друга, ялуторовского священника С. Ф. Знаменского, талантливый художник. Близко знал Пущина много лет.

Стр. 114. *Матвей Иванович Муравьев-Апостол* (1793—1886) — один из основателей «Союза спасения», член Южного общества, участник восстания Черниговского полка, осужден в каторгу на 20 лет. С 1836 г. на поселении в Ялуторовске.

Стр. 115. *Якушкин завел здесь школу.*— Имеются в виду знаменитые школы, созданные И. Д. Якушкиным в Ялуторовске для обучения детей местных жителей. Пущин деятельно помогал Якушкину в его просветительской работе.

...священник здешний.— Стефан Яковлевич Знаменский (1806—1877).

Стр. 117. *...замечаний на биографию, составленную Анненковым.*— В 1855 г. П. В. Анненковым были изданы «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», в которых политические взгляды поэта и его связи с декабристским движением почти не освещались, как по цензурным соображениям, так и по владевшему Анненковым убеждению, что эти связи носили случайный характер. Появление работы Анненкова явилось для Пущина дополнительным поводом к написанию Записок.

Стр. 118. *Петр Михайлович Волконский* (1776—1852) — светл. князь, генерал-адъютант, начальник Главного штаба, министр двора (1826—1852).

Павел Дмитриевич *Киселев* (1788—1872) — граф, с 1819 г. начальник штаба 2-й армии, впоследствии министр государственных имуществ, русский посол во Франции.

Стр. 119. *...разговор большей частью шел о войне.*— Имеется в виду Крымская война (1853—1856).

СОДЕРЖАНИЕ

Пущин И. И.

П91 Записки о Пушкине. Письма/Сост., вступит. ст. и коммент. С. Д. Селивановой. — М.: Сов. Россия, 1979 г.—144 с.

В большой и разнообразной мемуарной литературе о Пушкине, среди множества свидетельств его современников воспоминания Ивана Ивановича Пущина, одного из ближайших лицейских товарищей поэта, «друга бесценного», выделяются особой достоверностью, богатством, а зачастую и уникальностью сообщаемых фактов.

В «Записках о Пушкине» явственно проступает, при естественном желании выдвинуть на первый план фигуру Пушкина, также облик их автора — передового русского человека, патриота, сознательно избравшего путь борьбы за счастье своей страны, за свободу своего народа, верного друга, твердого и в минуты радости, и в дни испытаний. Дополняющие «Записки о Пушкине» письма И. И. Пущина и воспоминания о Пущине современников еще прче рисуют образ этого замечательного человека, оставшегося непоколебимо верным декабристским идеалам своей молодости до конца жизни.

П $\frac{70301-162}{М\text{-}105(03)79}$ 103—79 4702010100 8 Р1

Иван Иванович Пущин

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ. ПИСЬМА

Редактор Т. М. Мугуев
Художник В. И. Бродский
Художественный редактор Э. А. Розен
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректор Л. В. Дорофеева

ИБ № 1300
Сдано в набор 27.12.78. Подписано в печать 15.05.79. А09988. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Усл. п. л. 6,30. Уч.-изд. л. 5,80. Тираж 100.000 экз. Заказ № 149. Цена 60 коп. Изд. инд. ЛХ—164.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Карельской АССР. Сортавала, Карельская, 42.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Вышла в свет книга

Вельтман А. Ф. Повести и рассказы

Среди блестящих литературных имен пушкинской поры имя Александра Фомича Вельтмана не затерялось, как не затерялись среди замечательных созданий того времени его романы и повести, поэмы и стихи.

В настоящем сборнике представлены повести и рассказы бытового плана («Аленушка», «Ольга»), романтического «бессарабского» цикла («Урсул», «Радой», «Костештские скалы»), историко-фантастические, а также критически-сатирической направленности («Неистовый Роланд», «Приезжий из провинции»), сюжетно предвосхищающие произведения Гоголя.

